

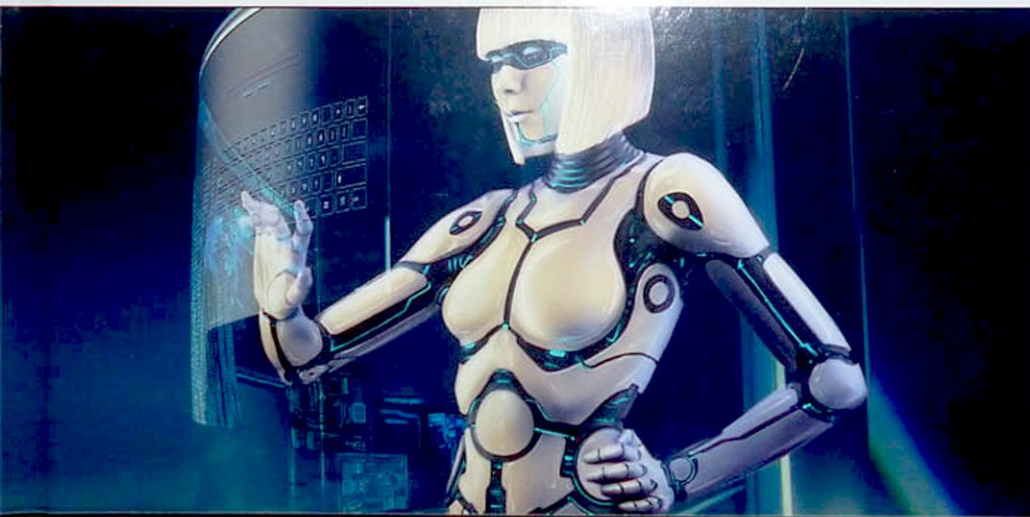
Зарубежная



фантастика

# Олаф Стэплдон Из смерти в жизнь

Фантастический роман

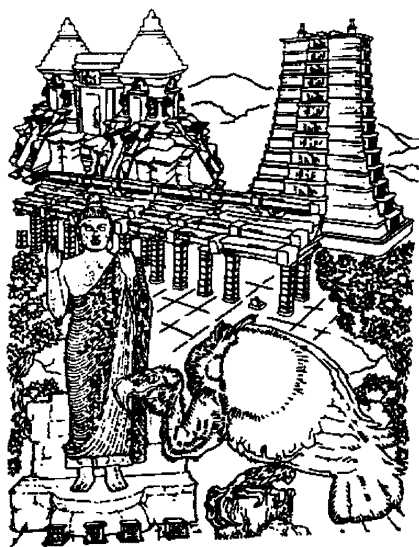


Лейпциг «Жемчужина» 2001

Зарубежная



фантастика





W.D. Tapscott

Зарубежная



фантастика

Олаф Стэплдон

# Из смерти в жизнь

Перевод Г.Соловьевой

Иллюстрации А.Филиппова



Лейпциг, «Жемчужина», 2001



УДК 1/14  
ББК 87.2  
С 88

Olaf Stapledon  
Death into Life  
(1946)

Перевод с английского Галины Соловьевой

На стр. 2 автограф образца 1931 года

**Стапледон, Олаф**  
С 88 Из смерти в жизнь: Роман. Перевод с англий-  
ского Г.Соловьевой. – Лейпциг, «Жемчужина»,  
2001. 230 стр. – (SF/Зарубежная фантастика).

© Г.Соловьева, перевод

# Глава 1

## Битва

*Летчики – Кормовой стрелок – Артиллерия –  
Город и его жители – Атака*

### Летчики

Десять тысяч мальчиков в небесной вышине. Эскадрилья за эскадрильей, их сложные машины, нагруженные смертью, с грохотом летят к цели. Темнота внизу, а наверху звезды. Внизу невидимый ковер полей и домиков; наверху, очень далеко за мерцающими звездами, невидимые галактики, скользящие сквозь необъятную тьму – эскадрилья за эскадрильей вселенные разворачиваются в безграничном, и все же измеримом пространстве.

В одном из бомбардировщиков семеро мальчиков. Семь юных умов в упорядоченном единстве: каждый занят собой, но все связаны нитями това-

рищества из закаленной стали. И все наравне – умом и телом пленники своей сложной машины.

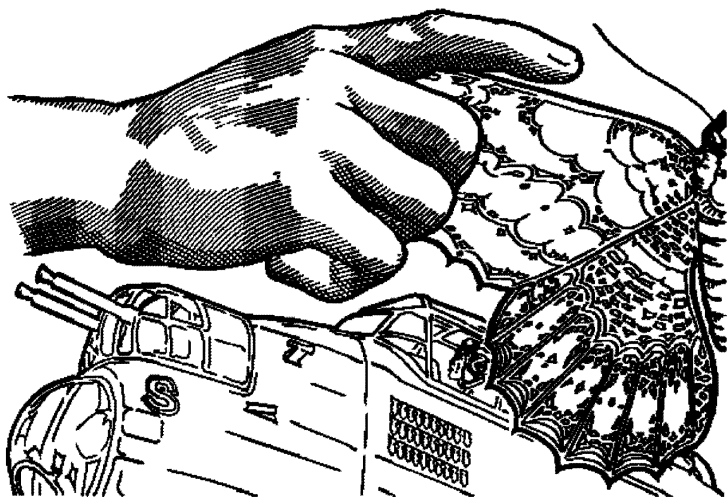
Семеро мальчиков и, по странной случайности – мотылек. Он, конечно, залетел в самолет, когда команда занимала места. С тех пор он порхает здесь и там, облетает свою тюрьму сверху донизу, от одного прозрачного колпака турели к другому. Его влечет странная тоска, неосознанная потребность в паре. В поисках второго он мягко наталкивается то на одну, то на другую мягкую человеческую щеку, целует их прикосновением ресниц невидимой любимой, тратит впустую мгновения жизни, которых у него наперечет. Или бессильно бьется в тюремное окно, привлеченный светящимися точками на небе, но не сознавая величия галактик.

У семерых мальчиков свои, более осознанные мечты. Они стремятся к жизни, которая естественна для их человеческой, более сознающей, но незавершенной, природы. И подобно мотыльку их разум бессильно бьется в тюремное окно, тщетно вопрошая звезды.

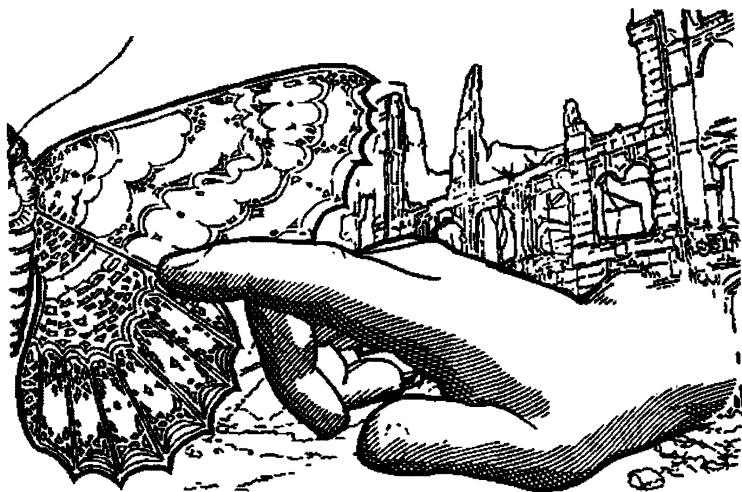
### **Кормовой стрелок**

Кормовой стрелок никогда не слышал о галактиках. Даже звезды для него не многим более, чем блуждающие огоньки. Он, конечно, знает, что они – солнца, но что из этого? Эта мысль его подавляет. В смущении он нырнул в глубину, где нет даже вос-

поминаний. И, хотя в такие ночи, как эта, он невольно вспоминает и гадает, но в пустоте быстро начал скучать. Он чувствовал, что звезды ничем не могут помочь. На земле внизу ад, и мелькающие в нем маленькие радости – пиво, секс и горький, сокрушающий экстаз воздушного боя – только дразнят напрасно. Бывали и минуты, пугающие и все же волнующие, когда им овладевал кто-то, сидящий глубоко внутри, и вся жизнь меняла цвет, становилась ужасающе важной, и человек готов был дать себе пинка за то, что тратит ее напрасно. Но такие мгновенья быстро проходили. Возможно, это от несварения желудка или работа желез. Нет, здесь внизу ад, а там, наверху, только пустые звезды. А сейчас, ко всему, у него начинался насморк. В носу уже утомительно щекотало, и голова была не слишком ясная. Не лишит ли его насморк отваги? Не завалит ли он свою работу? Что бы там ни было, он не смеет подводить команду. Вот что по-настоящему важно. Важно? Чем важно? На миг перед ним раскрылась черная бездна, но мальчик храбро перепрыгнул ее. Черт! Он не знал, чем это важно, но так было – ужасно важно, чтобы команда хорошо сработала. Потом, вспомнив прошлый вылет, когда вокруг самолета бушевал огонь и молотом били разрывы, он сник. Конечно, есть шансы вернуться всем семерым. Но не все экипажи возвращаются. А рано или поздно... он представил себе пылающий самолет.



Паника захлестнула его, но он мгновенно отбросил страх. Нечего об этом думать. Думай лучше об искусстве пилота и о своем оружии. Ну вот! Очень скоро они понесутся к дому, обгоняя рассвет, сбросив груз страха вместе с бомбами. А там и завтрак. Как ему хотелось жить! Беззаботный поцелуй мотылька странно растревожил его, как тревожат щекочущие щеку волосы девушки – так ему подумалось. Он еще не бывал в постели с девушкой, хотя не раз хвастался, что бывал. И может умереть в эту ночь, так и не попробовав. Почему, спросил он себя, я так неловок с девушками? Может быть, он на самом деле боялся их, боялся повредить в них что-то святое. Он никак не мог избавиться от этого чувства,



хоть и считал его глупостью. Они же просто самки, а он самец. Поэтому он прикрывал свою благоговейную застенчивость светской развязностью, но они видели его насквозь. Она видела его насквозь. И она умела его завести и вывести, умела раздражить. Маленькая сучка. Но, Господи, может быть, они оба ничего не понимали, может быть, и правда существует что-то святое, и может быть, путь к нему действительно лежит через это дело с любовью, если только правильно взяться. Бомбардировщик летел уже над проливом. Впереди светлой кляксой белело отражение восходящей луны. Мотылек настойчивей стремился к свету, а далеко внизу, невидимо для

них, каждый гребень волны, каждый пузырек пены и капелька брызг были просвечены луной.

Кормовой стрелок не знал, что под этой соленой водой лежит древняя долина. Там у великой реки некогда рос лес. Мамонты ломились сквозь молодую поросль, плавали в быстрых водах, искали новых пастбищ на будущих островах. Сутулые предки людей использовали необработанные камни как инструмент и как оружие в своих древних ссорах – бомб еще не было. Но для кормового стрелка узкая полоса моря была лишь оборонительным рвом, защищающим его родной остров. А его остров – это просто поля и дома, города и шахты, король и принцессы и тому подобное. И, конечно, самые порядочные люди на свете, и столица империи, несущей порядочность на все континенты. Кое-кто с этим спорит – к черту их! Умная птица не гадит в собственном гнезде. Но, даже если они правы, и империя – большой фальшивка, разве это важно? Важны только люди на родине. Летчики сражались за них и за право жить достойно. Достоинство – что, в сущности, значит это слово? Святыня? Абсолютная правота? Или просто образ жизни, бессмысленная привычка?

За блестящим под луной морем уже темнела земля. Скоро они окажутся над вражеской обороной, и тогда мечтать станет некогда. Слава богу, он был неуклюж только с девушками, а с оружием обращался ловко и уверенно; и, хотя на пути к цели в животе у

него все таяло и ноги порой подрагивали, когда начиналось представление, он успокаивался. Они семеро будут действовать как одно существо, в идеальной согласованности! Только, ох, как ему хотелось бы жить и дальше. Конечно, надо остановить этих подонков, готовых погубить мир. И надо защищать остров-крепость, империю и все такое. Да, и чертовски хочется выбраться на гражданку, и приятно сознавать, что участвуешь в самом грандиозном представлении, и играть свою роль стильно, как немногие – избранное меньшинство бойцов за Британию. Но как же хотелось жить!

Ну, если он доживет до мира, он не станет заниматься политикой. Он будет наслаждаться жизнью, возмещая все нынешнее. Вдруг представилось, как он, весь в медалях, с нашивками-крылышками на поношенном штатском пиджаке, торгует вразнос зубными щетками. Такое случалось после прошлой войны, но с ним такого не будет! Если ему не дадут чего-нибудь получше, они с товарищами все разнесут. Страну давно пора почистить. Конечно, во всем виноваты грязные евреи. Ну, если жизнь – это жизнь ветерана на пенсии, лучше умереть сегодня и покончить с этим. Хотя больно будет. Как ожог на руке, только всем телом. А смерть? О таких вещах не говорят. Он даже с самим собой не вел таких разговоров, если мог удержаться. Но сегодня ему все равно. Пора взглянуть в лицо фактам. Немцам и японцам легче, они верят в Валгаллу или что там у них.



Для нас другое дело. Конечно, падре уверен, что какие-то небеса нам обеспечены. Он так говорит, но ведь он за это деньги получает. В общем, рискованное пари. Но если смерть – просто прекращение дыхания, выключение тока, какой во всем этом смысл, зачем эти безумные небеса и ад под ними?

Стрелок снова взглянул на усеянный светлыми точками купол. Эти звезды, эти солнца, уставились на него холодными бесстрастными взглядами – а может, моргали, чтобы лучше его рассмотреть – чтобы лучше тебя съесть, милая. Конечно, он их узнал: они – дьяволы. Он наполовину убедил в этом самого себя.

Конечно, на самом деле, они так же равнодушны к нему, как он сам – к маленькому фагоциту в своей крови. Звезды плывут тысячами, мириадами, эскадрильями фагоцитов в крови галактики. В глубинах глубин они текут по жилам космоса – звезды большие и малые, далекие и близкие, молодые гиганты и дряхлые карлики. И зачем они, не узнает ни кормовой стрелок, ни умники на земле. И все же разум кормового стрелка тяготит подозрение, что в них есть смысл. Мальчик дрожит и сморкается. Господи, какой смысл в этих чертовски огромных огнях? Может быть, это летучие искры от невидимого и много большего костра? Что за мысль! Надо подтянуться. Для него важнее осветительные ракеты, прожектора, трассирующие пули, а еще – острый глаз и твердая рука. В любой момент могут появиться

ся вражеские истребители, а до цели, до Города, еще далеко.

## Город и его жители

Далеко впереди лежит под лунным светом и ждет Город. Прозвучали сирены. С высоты, с патрульных самолетов, огромный город представлялся большой кляксой на узоре ковра из лесов озер, рек и паутинок дорог. На аморфном пятне выделялись мелкие детали, словно нити лишайника или грибной плесени. Он распластался по равнине, невнятным следом органики, как раздавленный колесом зверек на асфальте. Только город не был безжизненным. От него тянулись вверх тонкие усики света – шевелились в воздухе, ощупывали высоту и гасли, не достигнув звездных глубин. Ведь эти любопытные щупальца искали не небес, а предсказанной атаки ада.

Если приблизиться, Город – большое раненое животное – открывал живые части, уцелевшие ткани улиц и крыш. Но среди них пролегли шрамы: пчелиные соты без крышечек, с хрупкими, тонкими, обломанными восковыми стенками. Мед вытек и пропал, детва погибла. Были и такие места, где соты смялись напрочь, превратились в бесформенный мусор.

В этом улье, в этом муравейнике, потоптанном и смятом ногой гиганта, еще жили насекомые. Правда, они роями убегали в промерзшие леса, скрываясь от ночного ужаса, но многие еще остались. Бездомные скрывались в глубоких щелях и укрепленных убежищах. Старики, чей дух уже клонился к смерти, все еще цеплялись за последние ниточки жизни. Матери цеплялись за младенцев, яростно ревнуя к разлучнице-смерти; беременные больше всего боялись, как бы судорога ужаса не вытолкнула из лона их незавершенное сокровище. Молодые делились интимными радостями, не заботясь о скрытности, обгоняя смерть. Но были в городе и те, кто противостоял накатывающим волнам ада. Ждали зенитчики на батареях. Ждали дежурные на крышах, патрули на улицах. Шоферы скорых ждали прямо в машинах. В напряженной праздности ждали доктора и медсестры на пунктах помощи раненым. В мертвецких еще лежали неопознанные останки жертв последней агонии — старые сморщенные тела и тела на прерванном расцвете, тела в лохмотьях, недавно бывших приличными костюмами, и тела в старых лохмотьях. И разрозненные члены, странно безличные, еще недавно принадлежавшие живым рабочим, домохозяйкам, детям.

Среди руин прятались вооруженные люди в форме, готовые водворять дисциплину среди населения.

Город ужаса, страдающий духом не меньше, чем плотью. Он, как всякий город, был роем беспокой-

ных маленьких солипсистов, погруженных в собственные миры, каждый из которых представлялся одним-единственным, истинным и великим. Каждый из этих индивидуумов: почтальонов, уборщиц, продавщиц, управляющих компаниями – нес на себе свой мир, как подводные насекомые несут пузырек воздуха для дыхания – отдельную маленькую вселенную, микроскопическую вырезку из огромной реальности, и все же цельную. В каждом микрокосме были ландшафты и разумные существа, города и звездное небо с простыми огоньками или с гигантскими солнцами, и собственное течение времени, будь то всего лишь срок одной жизни, или столетия истории, или звездные эры. В каждой вселенной крошечный индивидуум являл собой воспринимающий, динамичный, деятельный центр, наполняющий свой пузырек красками и ароматами, жаром желаний и смертным холодом одиночества. И эти крошечные личности, эти мыслящие тела, эти звучащие инструменты воли и страсти, запертые на островках в океане и в то же время – странное дело – включающие друг друга – могли ли они быть частями одной необъятности, одного всеохватного и единого сознания? Или же они со всеми, подобными им в целом космосе, были совершенно отдельными зернышками разума и единственным родом мыслящих существ в целой вселенной? Или некое олицетворенное божество глядело на них сверху, просеивая мириады существ между пальцев как

песчинки? Или эти маленькие личности были в действительности вовсе не постоянными частицами духа, а лишь эфемерными призраками мыслей и желаний, проистекающими из физических процессов в человеческих телах подобно пару над навозной кучей?

Если рассматривать их в массе, как единицы городского или мирового населения, или как муравьев в муравейнике, как они одинаковы: все их драгоценные различия лишь неуловимые неправильности механического узора. Но присмотритесь вблизи – каждый уникален! Вот маленькая вселенная, вечно озаренная солнцем, пока его не затмит навсегда общая катастрофа нашего времени. А вот микрокосм-пустыня. Вот кипящий котел событий, а вот стоячий пруд. Вот вселенная ссохшаяся и низкая, ограниченная сетью коммерческих и политических интриг или поисками предлогов, чтобы показать себя. А вот щедрая и непрерывно расширяющаяся, отражающая, пусть несовершенно, все смятение современного мира, всю цепь человеческой истории от самого ее рассвета и весь космос. Здесь, и здесь, и здесь вселенные, расчлененные глупыми мечтами и безумными мифами. А здесь и вот здесь очень простые микрокосмы, не наделенные ни величием, ни тонкостью, но (как знать), может быть, истинно верные природе реальности, потому что изнутри их освещают яркие огни дружбы и любви.

Как различны все эти мыслящие динамичные центры самих себя. Вот паук, день и ночь плетущий нити, чтобы связать крылья невинным; вот теплый источник света, освещающий соседние миры. Это живет в своей колее, не задаваясь вопросами, словно спит наяву, а этот всеми фибрами оголенных нервов ощущает каждый закоулок своего маленького мира.

Так различны были индивидуальности миллионов горожан, однако, подавленные общей иллюзией, общей тиранией, общей трагедией, все они стали жестоко обезличены отпечатком железной идеи.

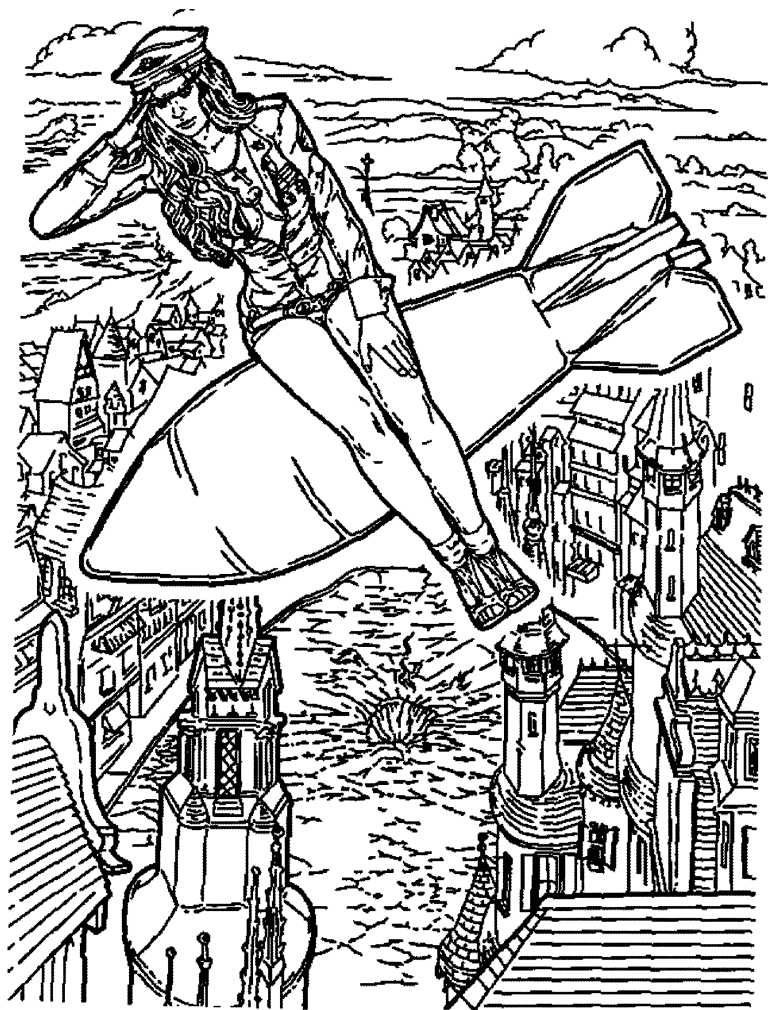
Город был искалечен, но не покорен. Он был загнанной в угол крысой, попавшим в засаду тигром. Гордые и верные люди были трагически обмануты. Их кумиры рушились. Мягкие сердцем, отзывчивые на мольбу, преданные семье и празднику Рождества. Многомудрые тома, смелые теории. Музыка, отвергающая небеса. Народ, сознающий себя цивилизованным, но хранящий внутри варварство, подобно всем людям, и может быть, более опасный. Слишком простой под всеми тонкостями. С зудом зверства под мягкостью – как у всех, только более свирепым. Народ, легко покорившийся жестокому богу – тем легче, что благородный Бог не оправдал надежд. Потому что старая нежная вера Запада истлела в сердцах. Несомненно, кто-то еще берег ее, кто-то мог погибнуть за нее, свидетелем против тирании, но для большинства она умерла. Как верно эти

люди повиновались новому пророку, своему бешеному шаману! Отдавая ему сыновей и дочерей, чтобы он перекроил их под свою мечту. Сжигая книги. Подавляя, убивая, пытая ради единства мира. Опыленные видениями, как они стремились в страну обетованную, в изобильную Валгаллу славных, повелителей мира – эти самозванные спасители человечества. Но человечество отвергло их, восстало против них, И теперь их видения гасли. Не только потому, что отступали их армии, горели их города: в их сердцах долго дремавший дух восстал против пророка и его целей. Не потому ли, что месяц за месяцем, год за годом в них вонзались взгляды жертв и рабов? Бессильнее булавочных уколов, но бесконечно повторяющиеся. Или собственное страдание наконец научило их мягкости?

Несчастный, трагический народ. Глубоко погруженный в вину и ставший козлом отпущения для виновного мира.

## Атака

Настороженных ушей защитников города коснулась тень звука. Звук – или почудилось? Если звук, то гром или отзвуки далекого сражения? Первые волны далекого удара отозвались дрожью в фундаментах и прошли по воздушным путям улиц. Вздрыгнули руины. Огромное раненое существо задрожало каждой клеткой. И вместе со звуком по





всему населению города, от дежурных на крышах до толпы в убежищах, прошел вздох, скрытый каждым от каждого.

Внезапно взревели орудия города. Задребезжали стекла и посуда. Булавочные проколы звезд затмило недолговечное сияние. Десять тысяч мальчиков в небесной вышине нацелились на убийство – и наравне с ними те, что при орудиях. Ливень огромных бомб терзал сердце города, каждая, попадая в дом или улицу, взрывалась огнем; их удары пересекались, словно кольца от дождевых капель на воде пруда. И за полчаса еще множество городских сот было растоптано подошвой гиганта. Снова лишившиеся фасадов дома выставили свои потроха напоказ, как кукольные домики. Фабрики и конторы, школы и церкви вдруг обратились в кучи мусора. И в этих грудах кирпича и бетона, балок и перекрытий, лежали человеческие тела. Многие из них были неподвижны, из них выбило дыхание и жизнь, но другие еще дышали – и кричали. А по всему городу паразитами пировали пожары, тянули к небу яркие щупальца, вздымали дымы выше бомбардировщиков.

В эти минуты многие сотни маленьких личных вселенных пропали, как пропадают пузыри на сохнувшей пене. Их жизненные центры были уничтожены – так исчезает освещенная комната, когда разобьют лампу. А иные из выживших, объединенные

с уничтоженными симбиотической связью, остались еле живыми калекami.

Яркие усики города ощупывали небо. Бомбардировщики в небесной вышине прокладывали курс между колоннами вражеских прожекторов и расцветающих бутонов пламени. Десять тысяч исполняли предписанный им долг. Сердце города было для них мишенью, которую нужно точно поразить до завтрака. О том, что это ткань, сплетенная из жизней и любви, большинство из них забыли за напряжением атаки. Но некоторым эта мысль мешала, и ее приходилось отгонять: у немногих укол жалости был отражен сознанием своей правоты, другие немногие – душевные калеки – наслаждались жестокой агонией. Но светлые головы сурово взирали на созданный ими ужас, словно выдавливали гной из нарыва, и делали свое дело в полном сознании.

Каждый экипаж был скреплен стальными узами: разные обязанности и разные мысли объединялись общим повиновением цели. Каждый мальчик из каждой команды дорожил самим собой, нес сквозь ужас этой ночи упрямую тему собственной жизни, но каждый был самоотверженной частью целого. Быть может, здесь и там что-то не сходилось в мозаике мыслей, какой-нибудь одиночка или непокорный дух подтачивал единство экипажа, заражая всех сомнением и страхом, отравляя общее одинокие и эффективность – как больной зуб или за-

ноза в пальце ослабляют единство глаза и мышц атлета.

Но такие диссонансы были редки. Каждый экипаж в пределах маленькой вселенной смерти был цельным существом. И вся армада воздушных судов, эскадрилья за эскадрильей накатывающая на цель, выбрасывала в сердце города смертоносную икру с точностью часового механизма, с ошеломляющей целеустремленностью атакующего броска. Нападало единое существо, живой и разумный улей, где каждая пчела, жалея себя, жертвовала собой ради общей жизни, общей цели.

Бомбардировщики тоже уязвимы. То один, то другой, пойманный усиками прожекторов, задетый выстрелами орудий или подбитый истребителем обороны, вычерчивал в темноте длинную нисходящую кривую – огненный след – или пропадал в яркой вспышке.

Мотылек все порхал по летучей тюрьме в смутном беспокойстве. Но семеро готовились к решающему моменту – к сбросу смертоносного груза. Они, захваченные важностью задачи, стали семьей органами механической летучей твари. Если бы в одно сознание из семи залетела индивидуальная мысль, она была бы немедленно изгнана. Общность семерых должна быть абсолютной. Только мотылек, невольный и неразумный пассажир, оставался отдельным. Телом попав в ловушку, он сохранил сво-

буду от тирании человеческого разума, от всей его тупости.

Кормовой стрелок был счастлив. Он уже убил и ждал новой атаки. Но когда мотылек вновь коснулся его чарами далекого, но такого родного мира, его сердце на миг дрогнуло. Он яростно встряхнулся и укрепился душой.

Самолет вдруг попал в перекрестье прожекторных лучей. Близкие разрывы сотрясали его. В бушующем свете кормовой стрелок на миг увидел мотылька: трепетную белую пылинку, зависшую в темноте.

А потом вселенную кормового стрелка объяло сияние и грохот, дикая боль прокатилась по каждому его нерву. Каждую клетку тела затопил свирепый жар. Так было со всеми семью. Бумажные крылышки мотылька мгновенно преобразились в облачко разрозненных молекул. Плоть семерых мальчиков распадалась в мучениях. Семь юных сознаний, средоточия и короли семи миров, переживали последний опыт. А потом и они превратились в газовые облачка, в стайку блуждающих молекул.

А семь молодых душ?

Последний миг кормового стрелка был до отказа заполнен болью, яростным отвращением тела к гибели. Все, что он испытал в своем мире: булабочные точки звезд – солнц, святое товарищество экипажа, поцелуй мотылька и девятнадцать лет взросления –

все это стерла раскаленная добела агония тела. Потом ушла и боль. Кормовой стрелок исчез.

## **Первая интерлюдия**

### **Что значит – умирать?**

Мы прощались в тоннеле. Ты на платформе, я в вагоне. В дни ракетных ударов.

Ты с улыбкой отступила назад и послала мне воздушный поцелуй. В нем светилось все, что мы пережили.

Двери сомкнулись, разделив нас. Шанс, что мы больше не встретимся был, сказал я себе, один на много миллионов. И все же, этим утром, всего за несколько улиц от нас погибли десятки людей. Сегодня, как в тысячи других дней, они зевали в постели, одевались, завтракали, собирались на работу, а потом внезапно, или медленно и мучительно, переставали быть. Так это виделось со стороны.

Что значит – умирать? Никто из тех, кто пробо-вал, не расскажет.

Что мы – просто искорки разума, навсегда гаснущие со смертью, или птенцы бессмертных, страшащиеся покинуть гнездо? Или то и другое? Или ни то, ни другое?

Мы рождаемся в тайне, и в тайне умираем.

Давайте же, по крайней мере, не бахвалиться бессмертием, не закладывать ему душу. Если конец – это сон, что ж, для усталого сон – последнее блаженство.

И все же, быть может, умирает только дорогое нам мелкое я каждого. Быть может, с его уничтожением нечто живое и вечное расправляет крылья и вылетает на волю. Нам не дано знать.

Но вот что мы знаем: исчезаем ли мы или достигаем вечной жизни, любить – хорошо.

## Глава 2

### Эфемерные души

*Миг смерти – Уничтожение и выживание –  
Экипаж – Дух экипажа – Общество убитых –  
Смерть души убитых*

#### Миг смерти

В самый миг исчезновения кормовой стрелок пережил странный опыт, о котором так легко не расскажешь. Он уже оставил позади боль и падал в ничто. В этот последний миг он пробудился к осознанию всей прошлой жизни. Вся его прошлая вселенная чудом промелькнула перед ним в изысканной чистоте утреннего сияния, во множестве подробностей. Он заново ощутил все свои дни и ночи разом, но теперь – как цепочку разноцветных бусин, выложенную перед ним в смене света и тьмы. Каждая была изукрашена уникальным опытом той конкретной ночи или того дня. Здесь, как наяву, он видел



день, когда его впервые отвели в школу; ночь не-описуемого кошмара, который не выпускал его из зубов еще много дней и ночей; день, когда он, школьник, узрел божественность в однокласснице; первый день работы в банке; ночь первой операции за проливом. Видел он и то, что ниточкой, связывающей воедино все его дни и ночи, было драгоценное, постоянно растущее тело, которое теперь уничтожалось. Вот оно жило и несло в себе все воспоминания, создавало все страсти и восторги, было источником всякой жажды и всякого ее утоления. Но теперь его тело переживало смерть, а его разум – уничтожение. Странно, странно, что в одном мгновении нашлось место для толпы мыслей и желаний, для всех его девятнадцати лет!

И на одном конце длинной цепочки дней он увидел самый первый день, замкнутый в мирную темноту лоно – день болезненных и новых толчков, напора, мучительных схваток, и затем – укол холодного воздуха на нежной коже, и шлепок, расправивший его легкие для первого вдоха и крика. В этом первом, глубже всех похороненном воспоминании кормовой стрелок снова испытал слепой младенческий ужас, гнев и жалость к себе и пожелал вернуться в мирное лоно. Однако, рассматривая свой первый день с чудесной точки зрения последнего мига, он больше не стремился в лоно, которое, казалось, готово было поглотить его снова – и навсегда. Нет, он желал только жизни, и исполнения всего, что она

так поспешно обещала. Но вот перед ним лежала сумятица его дней, ярких от надежд и их частичного исполнения, но подпорченных бесконечной скукой, отчаянием, подделкой под будущее блаженство. Он жадно слизывал сладость своих драгоценных, сочных и исчисленных дней, и сплевывал всю их горечь. И, жалея себя, он тосковал по зрелому мужеству, которого не успел испытать.

Но сейчас, в этот дивно наполненный миг на краю уничтожения, кормовой стрелок уловил в себе странный конфликт. Он, казалось бы, всем существом протестовал против небытия, но в то же время в самой глубине его что-то равнодушно принимало уничтожение. Казалось бы, всем существом он жадно цеплялся за каждое сладкое мгновение жизни – и в то же время нетерпеливо отворачивался, отыскивая взглядом окончательное завершение. Как будто два разных существа противоположных темпераментов оценивали каждый день и минуту его жизни. Одно было знакомо ему как он сам: жадный ловец удовольствий и беглец от боли. Другое – пугающее и нечеловечески чужое, было незнакомцем, и в тоже время самой глубиной его существа. Оно ничего не ловило, ничего не чуралось. Эта, невидимая до поры, но активная часть его существа – если можно было считать ее таковой – принимала удовольствия наравне с болью, бесстрастно судила их с точки зрения некого высшего смысла, вопрошая, несут ли они в себе жизнь или смерть, усиливают

широту и восприимчивость личности или калечат ее. Соответственно, давний случай, когда он больно обжег руку, оценивался двояко. Обычное я кормового стрелка каменело от воспоминания боли, но вторая сторона его, тоже сознавая страдания тела, смотрела на них спокойно, с неслышной насмешкой над рабством другой половины. Потому что этот ожог не калечил, а увеличивал, прояснял опыт. Разве не он посвятил мальчика в грозную тайну страдания? А можно ли быть мужчиной, не пройдя этого посвящения?

Но его обычное я встречало решение высшей мысли непониманием, издевкой и ненавистью. Он спорил с собой: «Если уж умирать, умру настоящим, какой я есть, а не каким-нибудь длиннополым падре или ученым очкариком. Боль – это просто ад. Я не вижу в ней ничего хорошего, я ее ненавижу, терпеть не могу. К черту ее!».

В свой последний миг кормовой стрелок заново пережил тысячи мелких случаев раненой гордости и публичного унижения, как моль разъедавших крепкую ткань его жизни. Его снова отвергала красавица его квартала; он узнавал, что новый друг, настоящий герой, живет в трущобах. Только теперь его жестоко терзало несогласие обычного я и второго, более светлого. Одно покорно уступало давнему ужасу перед общественным мнением, другое же терзалось стыдом совсем иного порядка – стыдом за мальчишество и подлость. Потому что дружба, ко-

торая, как он теперь видел, могла осветить всю его жизнь, была отравлена снобизмом. Этой первой уступкой, как и многими другими предательствами, он отравлял собственную душу, и каждый раз становился чуть более близоруким, более бессердечным.

Оценивая неуклюжие ухаживания за девушкой, которой он добивался в последнее время, его пробудившийся ум видел, что их живые души так и не встретились лицом к лицу. Оба они были слепы к себе и к другому. Оба вновь и вновь ранили друг друга – не из жестокости, а от поглощенности собой и по тупости. В тот раз, когда она, горюя над растоптанной бабочкой, искала у него сочувствия, он не додумался, что у ее горя есть скрытый источник. Втайне презирая ее за ребячество, он мельком утешил ее и стал ласкать. А она, хоть и уцепилась за него, стала странно холодной. Ему надоело добиваться ответа, и он поднял на смех девчонку, хнычущую по пустякам. Тогда она, почему-то, вдруг неудержимо расплакалась. В свой последний миг кормовой стрелок с чудной ясностью видел то, чего не поняли тогда ни он, ни она: что в гибели бабочки она словно при вспышке молнии увидела ужас, затопивший бесчисленное множество людей и целые страны. Ее терзало противоречие между жалостью к угнетенным и вспыхнувшим пониманием, что участие в бойне, даже ради спасения терзаемых народов – ужасное святотатство; но больной мир нуждается в

этом святотатстве и прекратить его было бы еще ужаснее. Но все это происходило в такой глубине ее существа, куда она никогда не спускалась. Запутавшаяся и испуганная, она бежала из этих глубин в простую жалость к бабочке. Но смутное недоумение и беспричинный ужас остались. И, обращаясь к нему в тоне несчастного ребенка, а не женщины, повеоря ему маленькую на вид печаль, скрывавшую глубокое горе, она ждала большего, чем обычные любовные ласки: она надеялась на понимание и исцеление раны, в которую сама не смела вложить персты; в сущности, она просила любви, взаимного любопытства и бережности существ, разных по натуре, но слитый в единое целое. Все это сознавало теперь пробудившееся я кормового стрелка, и он горько презирал себя за давнюю тупость.

Однако его обычное я отвергало это презрение к себе, и страшилось остроты нового зрения. «Что на меня нашло? – бранился он. – Что со мной происходит? Откуда это книжная чушь? Уж наверняка не от меня. Я не такой, и никогда таким не был. И вообще, что мне эта девица? Черт возьми, не мое дело разбираться в ее глупых мыслишках и хныкать вместе с ней над букашками!».

Да, мысли о насилии заставляли кормового стрелка с особым ужасом восставать против нового я. Живой мальчик всегда принимал – хоть и со смутным беспокойством – необходимость насилия ради защиты добра. Его самого призывали убивать и

участвовать в убийстве. Ради экипажа, ради страны он участвовал в бойне, загнав мысли о ней в дальний угол сознания вместе с ужасом и стыдом. Он говорил себе: «Работа грязная, но ее надо делать. Если нас проклянут за нее, пусть мы будем прокляты, но сделать ее надо».

А вот его новое я жестоко и горько раскандалось. Его оживившееся воображение в мрачных подробностью рисовало агонию вражеского летчика, расстрелянного из пулемета или сбитого снарядом, и граждан вражеского государства, сгоревших или заваленных обломками разбомбленных зданий. Но еще стыднее этого ужаса было духовное предательство, сделавшее его возможным: предательство того, в чем его новое зрение видело главную святыню – уз братства, связывающих все живое. Его захлестывали мысли, которые вряд ли сумел бы выразить грубый жаргон умирающего мальчика. Роясь в завалах вульгарных словечек, он откопал в кладовых памяти запылившиеся от бездействия слова и фразы. «Как я мог быть таким... таким бесчувственным? – спрашивал он себя, – таким... толстокожим животным, и таким трусом, что согласился участвовать в этой дикой бойне? И чем мне стереть, смыть этот грех? Я очнулся и увидел, что стою по горло в нечистотах, в вонючей яме, из которой мне ни за что не выбраться».

Впрочем, очень скоро мысли его переменялись. Поднявшись над собой, он более объективно увидел

не только участие в убийстве, но и всю жизнь без цели и смысла.

Обратившись к старому жаргону, он вздохнул: «Бедный тупица, болван несчастный!». И, мучительно подбирая слова, которые бы вернее выразили его новое, оживившееся понимание: «Этот бедный лунатик не мог иначе. Возможно ли для такого бесчувственного существа освободиться от всеобщего греха? Мог ли человек, который так боится разочарований, так пресмыкается перед волей племени, увидеть, что племя ошиблось, и восстать против него? От него только и можно было ожидать, что, повинаясь зову племени, он отдаст свободу ради умения драться и убивать. Так он и сделал».

Еще одна мысль медленно оформилась под спокойным взглядом пробудившегося светлого я кормового стрелка. Озирая все, что он успел узнать о мире людей, наконец переваривая, критикуя это знание, он увидел, что даже осмыслив огромность это бойни, он был бы не прав, уйдя в сторону. Ведь отстраниться – означало бы отвергнуть отчаянный призыв о помощи. Миллионы человеческих существ, страдая от ужасающей тирании, взывали о спасении, и не было другого средства спасти их, кроме этой отчаянной войны. Тщетно было бы в этом случае проповедовать всеобщее братство и давать пример ненасилия. Более того, сознание всех людей было так глубоко и тонко извращено, так безумно предано ложным ценностям, в такой страш-

ной беде оказался род человеческий, что только насилие, только беспощадное убийство могло сохранить надежду на лучший мир.

«Уйди я в сторону, – признал он, – я оказался бы самым отвратительным снобом, я был бы повинен в снобизме праведников. Все равно, что умыть руки ради спасения своей драгоценной чистоты».

Однако, вспоминая рассказы о беззаветном самопожертвовании других, отказавшихся от участия в войне, он задумался, нет ли в его понимании пробелов, ведь те были так уверены, что насилие, в конечном счете, неизбежно влечет больше зла, чем добра.

Но тут же он сказал себе: «Возможно, эти провидцы и правы, и несомненно, они верны своим убеждениям. Но... как можно ради неверного будущего отвергнуть нынешний настойчивый призыв к спасению от жестоких угнетателей, палачей?

На него навалились смятение и ужас.

«Верно, мир – это сплошной ад, – воскликнул он, – если его единственная надежда – на то, что ради спасения страдающих жертв миллионы других заставят себя прибегнуть к дьявольским орудиям войны, пойдут на самые гнусные преступления... против чего? Назовем это духом? Преступление против того самого духа, который они хотят спасти. Да, воистину этот мир – сплошной ад!».

Но вспоминая более яркие и светлые моменты своей короткой жизни, он возражал сам себе:



«Нет, не ад, но подпорченная красота, надежда на красоту в боли и смятении. Где, когда, в какой форме мир принял яд?». У него не было ответов на эти вопросы, ведь он знал о мире не более среднего молодого человека, и даже его оживившийся разум отступал перед невежеством.

Когда два я кормового стрелка – если их было два, и если то были именно я, и если они были действительно «его я» – досмотрели жизнь до последнего мига муки и гибели, чувства их сильно переменились. Обычный мальчик перед лицом окончательной гибели вскричал, будто бы со всей силой своего существа: «Господи, дай мне жить!». И с этой последней молитвой сам кормовой стрелок: обычный, жадный, боязливый сноб, способный однако вместе со своим экипажем и на самообладание, и на товарищество – этот стрелок кончился. Вполне возможно, что крик этого бедного самовлюбленного и обреченного разума отдался эхом от звезды к звезде, от галактики к галактике, и может быть, даже достиг ушей милосердного Бога, если такой есть – вместе с такими же последними криками шести его товарищей и других погибших экипажей, вместе с криками горожан, сгоравших в своих ульях, и всех, умиравших на земле, на море и в воздухе во всех краях Земли.

Но другое, незнакомое я кормового стрелка, слыша его крик и крики других убитых, с презрением отвечало на эти мольбы: «Не я, – уверял кормо-

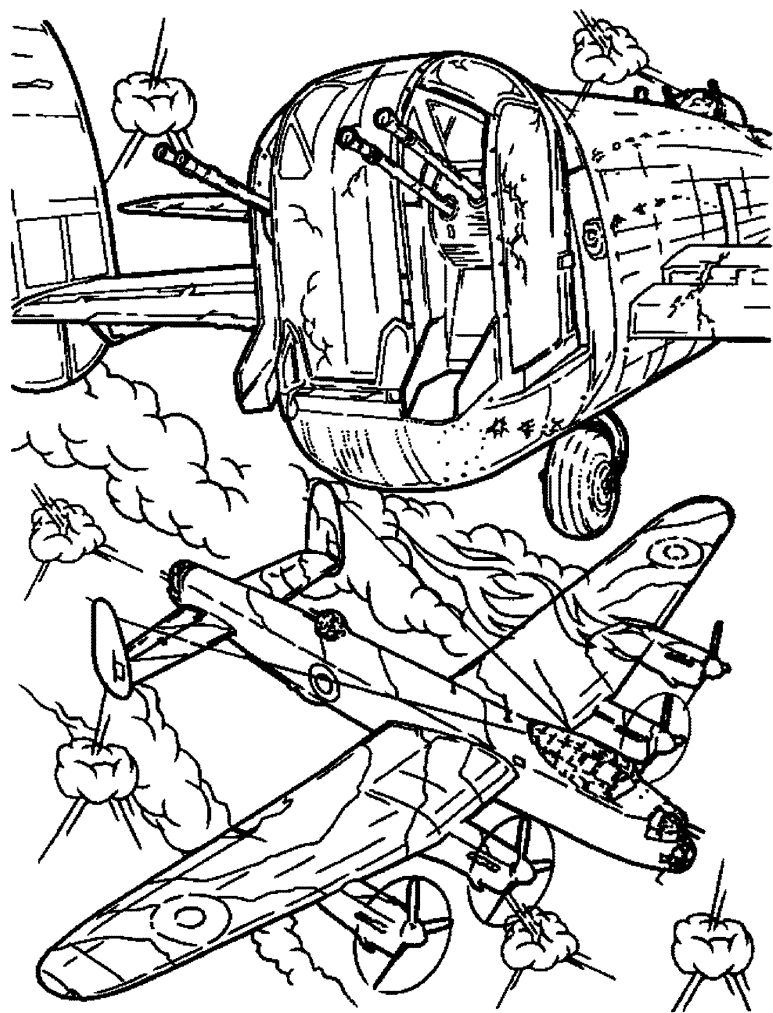
вой стрелок в своем более светлом образе – или чужак, пробудившийся с гибелью кормового стрелка. – Не я, кто-то другой повинен в этом крике. Это кричал зверь, недочеловек, живущий во мне».

Так в последний миг кормового стрелка, подобно другим убитым, раздирал внутренний конфликт. Обычный мальчик на грани уничтожения столкнулся с возвышенным вопрошающим существом, живущим в нем самом. Он предполагал, что холод его желаний принадлежит самой смерти, уже подточившей жизненные силы и разрушающей мозг. Но в то же самое время он, он сам (если то был действительно он) – но в новой, чужой, оживившейся форме, недорого оценивая свою прошлую жизни, заявлял: «Я всю жизнь заваливал экзамен за экзаменом. Я искал легких путей. Я гонялся за маленькими удовольствиями и спасался от маленьких страданий. Когда мне представлялся случай вырасти, я отворачивался, то из лени, то из страха или обычной тупости, и каждым шагом в тумане мелких страстишек гасил теплящийся во мне свет. Что я мог бы совершить, чем стать, если бы не решил прожить жизнь во сне! А теперь поздно. Упущенных возможностей уже не вернуть». Его охватило раскаяние и презрение к себе. Особенно презирал он свое низшее я за тот последний крик отчаяния, призыв к божеству, в которое он никогда не верил, чье имя называл лишь для красного словца. «Низкое существо, захлебывающееся от жалости к себе, – сказал

он. – Что за важность, если такая тля умрет, не осуществившись».

Но даже более светлое я кормового стрелка не было свободно от сожалений перед лицом уничтожения. Пусть оно было равнодушно к выживанию индивидуума, но и ему представлялось, что с его уходом окончится что-то, может быть, более ценное. Представлялось, что все скудные сокровища опыта, накопленные за его краткую жизнь, теперь, с его гибелью, тоже пропадут. Если бы знать, что они вольются в космическую или божественную сокровищницу опыта, как капля в океан! Но у него не было оснований так думать, а его ясный и точный разум презирал веру без доказательств, веру ради утешения. Что ж, океан не слишком обеднеет без одной капли. Более того, он с горечью сознавал теперь, что в его дремотном существовании вряд ли нашлось бы что-то уникальное, стоящее сохранения. Пусть так – но вот шестеро его товарищей, и тысячи убитых на войне, и все, умершие и умирающие во всех века, во всех странах? Все эти звезды, которые на самом деле – солнца, разумные миры, разбросанные, пусть редко, по всем галактикам? Неужели все эти сокровища опыта просто исчезают вместе с эфемерным телом, несшим их в себе?

Кормовой стрелок – даже его светлое я – с тоской думал о тщетности подобного бытия. Однако он внушал себе, что даже потеря сокровища ничего не значит. Важно другое – чтобы ростки мириадов



жизней приближали этот конкретный мир к счастью. Но что такое счастье? Счастье букашек, подобных ему? Значит, не просто к счастью, а к воплощению этих букашек в обогащенном, более проницательном, более разборчивом, более творческом существе. (Какие непривычные слова! Откуда они всплыли в нем?). Пробуждение в букашках все более утонченного с каждым поколением разума. Так значит, оправдание эпохам убожества и страданий — некая завершающая, славная, космическая утопия? Будет ли это ужасающе возвышенная утопия суперразумов, занятых работой суперумников? И снова стрелка охватило уныние, когда он подумал о неизбежном упадке и гибели этого далекого общества. Ведь ученые утверждают, что весь мир движется на часовом заводе, и, когда он иссякнет, все живое уничтожится. Его воображению предстали миллионы ледяных миров, покрытых промерзшими сотами бывших городов под саваном последнего снегопада.

Кормовой стрелок, или тот, кто пробудился в нем в последний миг, изнемогал от одиночества и жаждал только сна. Он смутно вспоминал все случаи, когда после тяжелого дня падал в постель и рушился, рушился в мирные глубины сна (опять материнское лоно). В те ночи, скажи ему кто, что он никогда не проснется, он бы вскочил с кровати; теперь же, предполагая, что сон будет вечным, он с благодарностью вздыхал и натягивал на голову одеяло забвения. Наконец даже последняя жажда гибели по-

гасла в нем, и с ней всякое мышление, всякое сознание.

## Уничтожение и выживание

Спустя мгновение или вечность, тот, кто был кормовым стрелком самолета с мотыльком, очнулся от беспамятства. И проснулся словно бы новым существом.

Он снова подхватил нить размышлений, однако теперь весь настрой его существа переменялся, словно освеженный сном. Он улыбался, вспоминая последнее отчаяние, сознавая слабость человеческого рассудка. Мог ли двуногий зверь, прямоходящий червь, предсказать суть вечности? А если бы последний миг предварял окончательную и вечную смерть, не было бы и это благом? Что может быть лучше сна, когда все дела окончены? И, как бы то ни было, важно ли это? Глупо оплакивать столь отдаленную и столь сомнительную катастрофу!

Он снова взялся перебирать пестрые четки прожитых дней и ночей. Конечно, в них насчитывалось не много достижений. Но он рассматривал их теперь без досады, без обиды и самообвинений. Как будто спала с плеч тяжкая ноша, словно самолет сбросил груз и летел свободно. Жалость осталась, но не жалость к себе. Перебирая пальцами четки дней, он говорил себе: «Бедный мальчик. Как он был жаден до радости, как неумело использовал мир и са-

мого себя. Каким бесчувственным был ко всему, кроме мелких желаний и боли. Нет, не я! Я никогда не был этим несчастным лунатиком».

И все же, нащупывая все новые бусинки времени, пристальней вглядываясь в эти прозрачные шарики, он видел, что были в жизни кормового стрелка моменты, о которых он без колебаний объявил бы: «Вот теперь, да, это истинно я. Здесь, здесь и здесь я, настоящий я пробудился в глубине сердца спящего, и я, я на время взял власть в свои руки».

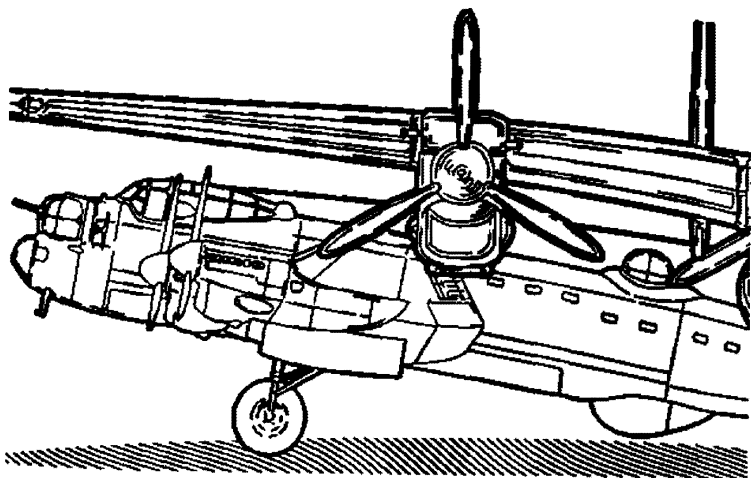
Он видел школьника, потрясенного вдруг новым взглядом на отверженного одноклассника и горячо защищающего его словом, кулаками и сердцем. И когда он с трепетом приветствовал божество в знакомой школьнице, его поклонение, пусть ребяческое, пусть загрязненное самодовольством, было по сути бескорыстным. Отзываясь на ее незнакомую сладость, он по-детски чтил в ней бога. Поклонение другому существу, жажда отдать себя ради другого, смутная тоска по неуловимому, изысканному единству возрожденного «мы». И еще были минуты, когда деревья, цветы, облака открывали ему странные окна. И порой на прогулке какая-нибудь математическая формула вдруг трогала его лаконичной простотой и широтой смысла. Порой и музыка высекала в нем искру непостижимого трепета. И, в конце концов, разве он не отдал себя целиком жизни экипажа, службе делу, которое он смутно понимал, но тем не менее признавал своим долгом? За это дело

он, боявшийся смерти, как ребенок боится темноты, умер.

«Да, – подтверждало пробудившееся в кормовом стрелке существо, – в эти минуты то был действительно я, именно я видел, ощущал, говорил, действовал». И, всматриваясь в тускло светящуюся сердцевину каждого дня, он узнавал всюду отблески света, который мог признать своим, хотя и заслоненные тупостью бедного лунатика. «Пусть он был не я, – размышлял пробудившийся, – но каждый день, каждую ночь я шевелился в сонном темном лоне его существа».

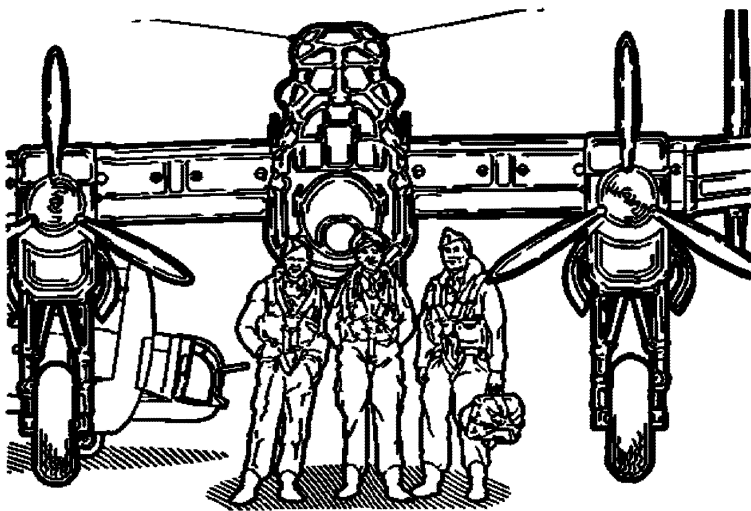
«А я? – гадал он. – Кто есть я? Что я на самом деле? Существо, породившее меня, существо, молившее о бессмертии, исчезло без следа. Ему нет места в моем будущем, я же, освобожденный его смертью, отрезан и от пищи, которую давала мне его прервавшаяся жизнь. Но я живу. Пуповина перерезана, но первый вдох в новом мире еще не сделан. Если не кончится это темное одиночество, я тоже скоро исчезну от простого отсутствия переживаний. О, где мир, где небеса, в которых я мог бы наконец исполнить все, что обещает моя природа? Где столкновения и согласие, где творческое взаимодействие с мне подобными, с кем я мог бы подняться к новым богатствам, к новым прозрениям?».





## Экипаж

Размышляя так, он вдруг осознал, что его окружает целый мир. А он, поглощенный внутренней драмой, не замечал его. Теперь же он увидел, что все это время парил в небе над горящим городом. Он был центром прозрачной сферы. Тело больше не загораживало ему обзора во все стороны. Под ним лежали огненные соты, над ним поднимались клубы дыма и пробивались иногда луна и редкие звезды. Со всех сторон он видел столбы света и взрывы огненных солнц. А внизу смутно расплывалось облачко, оставленное недавним взрывом бомбардировщика. Вот близкий разрыв погрузил его в свет и



звук – но боли не было. А потом и самолет с ревом прошел через ту самую точку, из которой он смотрел.

Но его внимание снова отклонилось от физического мира, когда он ощутил мысленное присутствие шести убитых товарищей.

Все прошлые жизни были обнажены, выложены напоказ всем семерым. Как будто все семеро собрались для обзора семи прошлых жизней из последнего мига смерти: как будто все вместе заглядывали в семь светящихся тоннелей биографии. Все были смущены самыми интимными переживаниями других. Потому что, хотя все избавились от смертной природы, они не были еще вполне подготовлены к

душевным прозрениям. Каждого еще сковывали невежество и предрассудки прошлой жизни. И привычное товарищество, и самопожертвование ради команды подвергалось сейчас новым испытаниям. Ведь каждый прежде, исполняя свои обязанности в общей жизни, хранил в себе внутреннюю святыню, недоступную вторжениям. Теперь же в одно мгновение всех швырнули друг другу в души. Открылось то, чего стыдились, что скрывали. Вспыхнули конфликты, которые сдерживали прежде ради общего дела, но которые тлели под спудом.

Пилот всегда втайне презирал кормового стрелка за его выговор, а стрелок злился на самоуверенность пилота. Преданность команде удерживала их от взаимных уколов, но теперь каждый с ужасом и зарождающейся ненавистью видел эту невысказанную, но нескрываемую враждебность. Застенчивость штурмана, заставлявшая его всегда последним проходить в дверь, оказалась плодом тайных обид и зависти. Занятие бомбометателя – повод для добродушных подначек и тайного презрения – открыло свои корни, погруженные в тайные желания, заставившие всех в отвлечении отвернуться.

Был среди семерых один: механик, новичок, в воздухе – один их команды, связанный нитями единства: но вне службы отделенного от команды грубостью речи и манер, непроницаемой замкнутостью. Теперь он предстал перед шестью остальными чуть ли не варваром из чуждого племени, созданием

иного мира, неведомого шестерым. Они, выросшие на лужайках пригородных вилл, в хороших школах, чувствовали себя полноценными членами общества. Они видели в полисмене если не слугу, то хотя бы необходимого защитника упорядоченной, спокойной жизни. А тот, вскормленный рабочим поселком на севере, где заводы в последнее время почти встали, где голод, болезни и социальное бессилие было общей судьбой, видел во всех общественных структурах средство, которым богатые удерживают бедных в покорности. Каждый полицейский был для него врагом. Заглядывая в начало своих дней и ночей, этот седьмой, и остальные шестеро вместе с ним, видели грязного оборвыша, играющего в канаве с разбитой бутылкой, в то время как детство остальных проходило на зеленой травке. Они видели мальчика в переполненном классе, открывающего свою природную силу и непрерывно подрывающего ее мятежом и следующими за ним наказаниями. Они видели юношу без работы, в стальном капкане тщетных поисков места, слушающего гневные речи на уличных митингах и в обшарпанных залах, впитывающего революционные идеи и тоже заводящего понемногу серьезные подрывные разговоры или задирающего полицейских. Кроме этой безнадежной жизни они видели разгорающуюся с каждым днем страсть – страсть иконоборца и революционера. Они были потрясены, потому то, при всем их цинизме светских людей, они никогда не подверга-

ли сомнению основы общественного устройства, и им представлялось, что эта страсть произрастает лишь из гордыни и зависти.

А молодой революционер недоумевал, заглядывая в жизни этих сыновей бизнесменов, клерков, ассистентов и инженеров. Их родители, все до одного, были вынуждены сражаться против бесчисленных конкурентов, отчаянно искать опоры на крутом склоне, подъем по которому вел к высокому положению в обществе, а спуск – к нищете. Однако эти отцы и их сыновья, редко знававшие свободу и довольство, винили во всем исключительно свое невежество, или состояние экономики, или козни большевиков, или евреев, или неискоренимое зло в человеческих сердцах. Им в голову не приходило связать свои беды с глубинной болезнью общества, с тем, что они – бедные зараженные клетки общественного организма. А седьмой член команды, механик, видел их именно такими, и единственную надежду для каждого человека находил только в понимании великих общественных процессов, порождавших все это смятение и нищету. А понимание неизбежно должно было привести их к действию.

Все семеро были охвачены отвращением и протестом, длившихся для них целую жизнь, полную болезненных уроков, но в физическом времени все это заняло одно мгновение. Понемногу – хотя и мгновенно – ошеломление и ужас принесли в души экипажа нечто новое. Для каждого из них, прошед-

ших те же странные преобразования, что и кормовой стрелок, пришла пора учиться. Они уже не были просто погибшими мальчиками. Они были тем, что нечувствительно родилось из этих погибших и пробудилось к ясному сознанию с уничтожением смертных тел. И потому, преодолев первое отвращение, они потянулись друг к другу, приветствуя чужую личность с уважением и ища взаимопонимания. Пилот и кормовой стрелок со смехом простили друг друга. Мания бомбометателя представилась остальным уже не дьявольской похотью, а шрамом, оставшимся от несчастного случая. Революционер уже не был изгоем, потому что шестеро увидели в своем презрении к нему аморальный снобизм, бездумное отвержение понятий чужого племени. Они напомнили себе, что этот «враг общества», движимый, казалось бы, чистой ненавистью, был также и надежным членом экипажа, отлично работавшим в связке и заслужившим у них особое, хотя не слишком душевное восхищение.

С жаждой справедливости прояснилось их зрение. Они видели школьника, корпевшего над домашними заданиями в голой комнате, где мать баюкала кричащего младенца. Видели, как его родители изо дня в день пытались скрыть взаимное раздражение под стершейся до мозолей добротой. Они видели, как сам паренек с каждым днем яснее понимал, что источник всех их бед – в бедности. И видели, как страдание и взаимопомощь помогали

ему различить в некоторых одноклассниках и приятелях из уличной банды страсть к товариществу, нарастающую потребность отдать себя единому общему делу.

Они более осмысленно воспринимали досаду юноши на отсутствие работы и его вхождение в общественную жизнь революционной партии, где он, наконец, нашел душевный покой, отдавая себя революции. С любопытством, с усиливающимся интересом, а потом и с теплым согласием он наблюдали, как формировалась чтением и социальной активностью мысль молодого человека, как он целиком подчинил себя главной идее: представлению о человечестве, как об общности, подающей большие надежды, но обокраденной на исполнение этих надежд.

Сквозь чужую страсть эти шестеро сами впервые ощутили силу человеческого единства. «Действительно, это во многом так, – сказали они, – хотя смертные мальчики, давшие нам бытие, ничего об этом не знали».

Но теперь они, своим развившимся пониманием, видели и то, что величественное видение классовых конфликтов и социальной эволюции, во многом верное и годное для дела, не достигает глубинной истины; что их товарищ, замороженный теорией, воспринимал мир слишком поверхностно. Огорчало их и то, что в служении революции тот нередко нарушал законы морали, принятые ими безусловно.

Он, никогда не лгавший ради личной выгоды, часто лгал ради политической: лживо истолковывал факты, очернял личности оппонентов и слишком равнодушных друзей революции. В своем посмертном просветлении они хорошо понимали, как оправдывала такие проступки его революционная страсть, но их смущало, что такое поведение насильствовало нечто святое: тот характер, образ жизни, универсальный дух, который все они, смутно задетые отзвуками древней религии, молчаливо и стыдливо признавали в некотором смысле божественным. Однако по совести они не могли обвинять товарища за его ошибки, если то и вправду были ошибки, потому что источником их было великодушное стремление освободить человечество от рабства. И шестеро стыдились теперь своей прошлой слепоты к бедам мира, к смыслу великих событий, среди которых протекали их жизни.

Седьмой, революционер, со своей стороны теперь полностью понимал личную реальность шестерых своих спутников и, осуждая многое в собственном прошлом, боялся, что в слепой преданности цели легко выбирая низкие средства, он часто вредил тому, без чего цель – истинная цель – не может быть достигнута.

Итак, бестелесные семеро, в прежней жизни едва ли уделявшие внимание глубоким проблемам, теперь озадаченно завязали философский диспут – если позволительно назвать так то странное прямое



слияние разумов, которое быстро привело их к взаимному согласию.

Так, наконец, посредством взаимного проникновения, единство семерых восстановилось и стало глубже прежнего. Каждая из этих разрозненных душ, порожденная жизнью одного из семерых молодых англичан, обогатила своей уникальностью общность. И дружба их достигла вершины в разумной любви.

Но в финальном акте любви эти семеро как отдельные существа были обречены не только достичь полного воплощения, но и найти свой конец. В том мистическом оплодотворении, когда каждый стал всеми, они объединились или, может быть, собрались в единый дух, в коем сохранилась живая личность каждого. Каждый в муках и ужасе, в затмевающем все экстазе терзался муками смерти и рождения. И в общих родовых схватках, смертельных для семерых, рушившихся сейчас в ничто, появился на свет и встал на крыло единый новорожденный дух.

Новорожденный? Или вновь пробудившийся? Зачатый, быть может, много раньше, в активном товариществе семерых, но до сих пор дремавший и бессильный, а теперь наконец проснувшийся к свободе. Какова бы ни был метафизический смысл происшедшего, но семеро умирали сейчас в идентичное, более исполненное жизнью существо – не

бывшее ни одним из них, но суммой всех, наследником семи жизней.

## Дух экипажа

Существо это, пробудившись, осознало себя поначалу лишь фрагментарным, эфемерным и устремленным к единственной цели духом экипажа одного из бомбардировщиков.

Странное дело – семеро растворились и слились в деле, которое, что ни говори, владело ими лишь поверхностно. Каждый прожил большую часть жизни вне команды. Только последний год, последние несколько месяцев, свели их вместе. Возможно, все они, а некоторые – наверняка, имели связи куда более соответствовавшие их внутренней природе, чем молодая, утрюмая в своей простоте команда. И все же все они умерли в этот мощный дух. Как видно, так произошло оттого, что в миг смерти все были поглощены единым действием экипажа. Более того, лишь в команде они выучились полностью подчинять свою волю общей цели.

Но воистину скоро этот простой дух экипажа обнаружил в себе неведомые глубины и высоты. Размышляя над прошлыми жизнями семерых своих членов, он ощутил, что каким-то, еще смутным для него образом, он стал чем-то большим, нежели единство семерых мальчиков. Будучи чистым духом экипажа, он помнил семь тел как собственное се-

мерное тело, хотя органы этого тела зачастую бунтовали против власти общего духа. Ведь каждый из семи его членов обладал собственной жизнью, разумом и волей, и душа каждого было много богаче этого прямолинейного командного духа. Лишь в воздухе они целиком подчинялись единой воле и фанатичной простоте экипажа. И даже в воздухе каждый оставался индивидуальным разумом, вынуждавшим себя к верности единой цели.

Теперь же он, возникший из семерых, чувствовал, что всегда присутствовал в каждом из них, одинаковый во всех, хотя большей частью неосознанный, скрытый в глубине, проявляясь только в тех случаях, когда команда действовала наиболее единодушно. Если единодушие было не столь полным, если некоторые члены экипажа стремились в бой, а другие чурались его, то сам он (так теперь ему представлялось) побуждал слабодушных к отваге, как человек иной раз побуждает усталые мышцы к отчаянному рывку.

Оглядываясь назад, он видел частью своего тела не только этих семерых, но и заключающую их в себе машину. Ведь отточенные чувства семерых и их инструменты, их мышцы и их рычаги управления давали ему сложное, биомеханическое бытие. Как человек, ведущий машину, иногда шинами ощущает дорожные ухабы, напрягающимся мотором – крутизну склона, так он ощущал через семь тел, и через крылья, и элероны, и напряжение мотора самую

текстуру атмосферы, подъемы и повороты летающей машины. И, как человеческая воля правит машиной, так он посредством семи умов, служивших лишь органами его собственного разума, правил и вел в бой самолет. Глядя в прошлое, он видел себя с самого основания команды как единую волю, направленную на точно исполненный полет, оборону, атаку и возвращение. В прошлом он лишь смутно, почти неосознано участвовал в личной жизни экипажа вне полета, вне общей жизни команды. Он знал мальчиков лишь постольку, поскольку они знали друг друга. Ныне же, в их смерти и взаимном прозрении он приобрел весь их опыт.

При жизни каждый из них был отдельным мальчиком, временно одержимым единством экипажа. Более того, каждый из них был членом и иных общностей. Каждый был связан с семьей, школой, спортивной командой, рабочей бригадой и иными бесчисленными, но менее прочными группами. Оглядываясь на прошлые жизни семерых, дух экипажа говорил себе, что до того, как они сошлись вместе, он не участвовал ни в одной из их жизней. Казалось, в те дни (хотя ему, почему-то, в это не верилось) он вообще нигде не существовал. И даже потом, во времена экипажа, одним из его драгоценных членов порой завладевала забота о себе или иной группе, не связанной с экипажем. В самом деле, молодой революционер, хоть и был самым дисциплинированным

из них, оставался самым чуждым экипажу, ведь душа его была отдана иной, высшей цели.

– Но я, кто же я? – вопрошал дух команды. – Действительно ли я – не более как эфемерная общность семерых, чьи жизни проникли в меня, и в чьей смерти я себя обнаружил? И какое будущее лежит передо мной, и есть ли оно у меня? В каком мире могу я действовать, чтобы выразить свою природу полнее, чем мог проявить ее каждый из семерых?

Чем более этот простой дух экипажа размышлял над жизнями семерых, тем более поглощали его семь их индивидуальностей. Его природа делалась глубже, обогащенная семью отдельными существами.

Далее, ему казалось, что, хотя его связь с миром ограничена опытом семерых его членов, но он некоторым образом был много большим, чем сумма семерых. Хотя все они были как бы его родителями, но ему упорно представлялось, что всю их жизнь, начавшуюся много раньше формирования экипажа, он присутствовал в каждом, питаясь разнообразием опыта этих молодых человеческих существ и будучи единым в каждом. Но до самой их смерти он существовал как во сне.

Нет, больше того. Ему чудилось, что он пребывал не только в этих семерых, но и во всех, кого те когда-либо знали: в их любимых, друзьях, коллегах, врагах жил дух, который, если бы до него дотянуться,

оказался бы им же или, если не им самим, то еще более просветленным духом, который странным образом ютился в нем, как и во всех остальных.

Пристально обдумывая эти семь жизней, оценивая их неуклюжее общение с другими смертными и миром, то существо, что родилось из мощного единства действия, теперь ощущало себя куда старше каждого из семерых: быть может древним, если не вечным – и прозревало в себе бездонные глубины и сложности. Им овладевала смутная, но страстная тоска по более полному, более светлому я, по деятельному общению с миром. Как спящий порой отчаянно и тщетно рвется из сна к пробуждению, а члены его между тем бессильны, глаза – закрыты, и ум словно под тяжелой массой воды, так это существо стремилось к бодрствованию, где могло бы стать собой настоящим и приветствовать незнакомый мир, великую реальность вне его существа.

### Общество убитых

Дух того экипажа, в котором недавно метался пойманный мотылек, вдруг заметил небо с луной в облаках и горящий город далеко внизу. Сирены выли, объявляя о неспокойном, недолговечном мире.

Он осознал рядом полчища существ, таких же бестелесных, как он сам. Словно бы вавилонское смешение голосов оглушило его: в действительности же то был рой духов, возникавших и исчеза-

ших, звуча прямо в его сознании дикими диссонансами и сладкими созвучиями.

Преодолев потрясение, он обнаружил, что эти сущности, контакт с которыми так ошеломил его, были души, пробудившиеся в последний миг всех, убитых в этом бою, как на земле, так и в воздухе. Эти духи вырвались из отдельных убитых, не бывших в момент смерти глубоко поглощенными единой жизнью группы: духи отдельных летчиков, стрелков, солдат, артиллеристов, горожан. Были здесь и составные духи пробудившиеся при внезапной гибели тесно сплоченных экипажей самолетов и бригад противовоздушной обороны.

Новое переживание оказалось болезненным для духа команды с мотыльком. Смятение и конфликты всех этих существ глубоко проникали в его личность. Силы притяжения и отталкивания то и дело пробуждали и влекли прочь одного из членов экипажа, казалось бы, так надежно интегрированного в его суть. Да и все общество духов было странным бурливым потоком, испещренным узором индивидуальностей и единения. Индивидуальности сливались друг с другом или разрывали связь, стремясь к новому единству, которое могло стать более разделенным или утонуть в большей общности.

Говорят, что электрон внутри атома вовсе не имеет индивидуальности. Он – просто фактор существования целого атома. Так и эти бестелесные духи растворялись в составных сущностях. Однако элек-

трон способен вернуть себе индивидуальность и вырваться из атома на свободу, быть может, чтобы соединиться с другим атомом и вновь умереть как личность в новой общности. Так и с этими духами. Или же электрон может связать атомы воедино в большее целое. Так и эти духи.

Например, революционер из экипажа, погибшего вместе с мотыльком, теперь вновь пробудился как личность под влиянием родственных ему душ. Однако он так прочно влился в единый экипаж, что, не думая вырываться прочь, он стал связью, соединившей семерной дух экипажа со всеми убитыми, желавшими нового мира.

Личности и общности в среде убитых кишели, как пузырьки в кипящей воде, возникая, пропадая, сливаясь и разделяясь – или же как непостоянный узор морщинок на пенке поставленного на огонь молока.

Но среди этих убитых была по меньшей мере одна, более тонкая, чем остальные, и с иной судьбой. Она, как и все, выстрадала уничтожение прежнего я, но дух ее, будучи в земном существовании не слишком ослепленным плотскими заботами, пробудившись в смерти, мог бы легко и быстро пройти все странные формы бытия, через которые с таким трудом пробивались другие.

Это была городская святая. Рожденная в роскоши и от рождения наделенная искренностью, воспитанная в высшем духе старой религии, она рано



взломала безмятежную позолоченную жизнь своего класса. Она искала дружбы с бедняками. Долгие годы те отвергали ее, но под конец ее служение и упорство завоевало их сердца. Когда город подпал под власть тиранни, она со скромной отвагой, со всей твердостью цельного характера, защищала гонимых и спасала преследуемых.

Она охотно открывалась в дружбе и служении, но источник ее внутреннего тепла и силы крылся во внутренней созерцательной жизни. Она восхваляла дух во всех формах, в каких он открывался ей: в полях и в лесах, в небе и человеческом милосердии, в значении человеческого слова, но, превыше всего, в людской любви. Не для нее тонкости теологии и тонкости скептицизма. Ей выпало понимание божественности любви и крутой высокий путь.

Когда смерть уничтожила ее, выпестованный добродетельной жизнью дух, пробудившись в умирании, взмыл на сильных крыльях, казалось ей, к чистому единению с тем самым Богом, которого она восхваляла всю жизнь. Но об истинной и окончательной ее судьбе здесь пока говорить неуместно.

Та святая, одна среди всех погибших, ринулась прямо к блаженству – или не она сама, но то существо, которое пробудилось с ее смертью и вырвалось на свободу. Немногие из других: летчики, горожане и артиллеристы, быстро собирались в некие церкви или партии, в группы по убеждениям и страстям.

Большинство же надолго осталось метаться среди подобных им мертвецов.

Это слияние и единение душ всегда было болезненным. Хотя некая глубинная общность воли всегда влекла души к союзу, но едва они сходились в полной и нераздельной интимности, внезапное отворачивание снова разделяло их.

Весь опыт прошлой жизни мучительно втискивался в другие души, так что поначалу единственным желанием каждой было избежать нестерпимой тяжести противоречивых мнений и желаний. Ведь среди убитых были молодые и старики, мужчины и женщины, властные и покорные, простые и умудренные, богатые и бедные, мерзавцы, герои и святые. Более того, здесь были налетчики и враги, бомбардировщики и горожане.

Мало того, что противники с обеих сторон теперь мучительно изливали друг в друга свои сознания и проникали в разум врага, что самые священные для них ценности словно рвали на части прямо в святыне их душ: хуже того, некоторые из сражавшихся на одной стороне с ужасом открывали теперь в соратниках чуждые побуждения и идеалы. Потому что глубже раскола, созданного войной, была рознь между теми, кто присягнул самой сути духа: разуму, любви и творчеству, и теми, чьи сердца втайне было отданы личной или племенной власти или тысячам иных фантомов, увлекающих человека. По обе стороны множество простых душ были слепо, но ис-

крепне преданны свету, и по обе стороны были такие, кто повенчался с тьмой. А в городе миазмы племенных догматов поразили жестокой слепотой даже тех, кто ратовал за дух.

Казалось, у всей этой толпы исторгнутых убитыми душ общим было только одно: все они были порождены жизнями, прерванными насильственно. Лишь жестокая безвременная смерть свела их вместе.

Но, поскольку все эти существа, отягощенные невежеством и предрассудками своих моральных предков, были духами светлой натуры, общая трагедия прерванных жизней послужила им ступенью к взаимному прозрению. Мало-помалу, за срок, представлявших тем душам целой жизнью преодоления, хотя в физическом времени еще не кончилась короткая атака бомбардировщиков, духи, наконец, победили противоречия. Все как будто распознали под множеством своих ошибок общую для всех истину. Конфликты все еще смущали их, но лишь так, как смущают различия связанных доверием друзей, и они жадно стремились к взаимному пониманию.

И вот они воскликнули хором: «Если бы те несчастные смертные, что породили нас, могли заглянуть друг другу в сердца и умы, как мы теперь, меньше было бы схваток на земле, и чаще встречалось бы счастье. Но мы, владея всем наследием общего опыта, можем вместе создать истинное товарищество

духов, и каждый из нас в этом союзе может перейти в более привольное и богатое существо.

Но, едва достигнув восторга взаимопонимания, все ощутили, как ускользает от них сознание. Ведь в единении они обрекли себя как личности на уничтожение. Вместе они стали родителями, или, быть может, скорее повитухами, единого существа. Каждый из этого сборища погиб окончательно, но опыт их собрался в единый плодотворный дух, в котором индивидуальные сознания не нашли себе места.

### **Дух убитых**

Этот дух, рожденный или пробужденный уничтожением всего разнородного сборища убитых, обладал прошлым каждого и всех вместе. Он, например, помнил, как некий кормовой стрелок целовал некого мотылька. И помнил объединенный дух экипажа. Он, посредством множества мозгов, помнил воздушное путешествие за море, и равным образом – подготовку горожан к обороне. Конфликт воль между горожанами и бомбардировщиками, между молодыми и старыми, богатыми и бедными, глядящими вперед и тоскующими по старине, он ощущал как конфликт собственных разнородных побуждений в дни, предшествовавшие его пробуждению к ясному самосознанию.

Ведь ему представлялось, что на протяжении жизни множества его членов он присутствовал в

каждом из них – только бессильным, парализованным, погруженным в огромное бессвязное сновидение. Их вечно разделяли расстояния и привязанности. И, хотя он иногда полусонно пробуждался в каждом из них и осторожно натягивал бразды правления, никогда в их прежних жизнях он, высшее существо, не правил долго.

– Но я, я, что же такое на самом деле? – этот вопрос терзал его. – Если я в действительности не более, как дух, исторгнутый убитыми этой ночью, как вышло, что я жил в них прежде, чем их объединила смерть? Нет. Хотя я обладаю опытом лишь этих немногих, я, в сущности, больше, чем исторгнутый ими дух. Я – дух умерших всех стран и веков, и потому я имманентен также всем живущим. Всегда, с первого поколения, в котором люди были людьми, я, я был их общим духом. Но как же вышло, что мне памяты только эти несколько завершенных жизней?

Через опыт своих погибших членов он теперь, преодолевая ограниченность и бессилие этих немногих, пытался выработать ясное видение великого мира, в котором те так недолго и слепо жили. И оттого смутным, обрывочным и бессвязным складывалось у него представление о бедствиях человеческого рода на это маленькой планете.

Смутно видел он, как народы копят силы для войны, смутным были убийства, ненависть, страх и всеобщая жажда мира. И совсем уж смутно он соз-

навал глубинный кризис нашей эпохи: крушение старого мира и мучительное рождение нового. Смутно видел он, что вековая внутренняя драма человеческих душ, битва между светом и тьмой, в этот миг долгой жизни человечества стала решающей.

Обозревая обрывочные представления своих членов, но мучился их неполнотой и мелочностью, сквозь которые манил затуманенный образ высшей истины, так что дух воскликнул: «Как я ни слеп, ни бессилен, я должен, должен проснуться и стать цельным! Я должен овладеть всеми. Я должен узнать всю правду о человечестве. Я должен стать силой во всех человеческих сердцах, я должен действовать!»

И вдруг существо, созданное немногими убитыми, было атаковано полчищами и полчищами существ: индивидуальными сознаниями всех, убитых в той долгой войне, и в прошлой войне, и во всех войнах всех эпох, и всех, погибших насильственной смертью с первых дней человечества, и всех, скончавшихся от болезней или просто от старости. И следом за мириадами мертвых, последними пришли живущие – две тысячи миллионов: белые и черные, желтокожие и смуглые, проживающие свои маленькие жизни под обширной тенью войны. Внутренне он знал их по их опыту, но знал и внешне, через их опыт познания друг друга. Его сознание расширилось, покрывая все поле человеческих

мыслей: так звезда, взрываясь, заливает световыми волнами расширяющуюся сферу темной туманности. Вся масса опыта живущих из всех стран рухнула на него. Но, вынужденно пребывая в каждом из их сознаний, он все же оставался отделенным от них. Они были голосами, звучащими у него в ушах, а не его собственным опытом. Казалось, целую жизнь, целую вечность грохотал над ним этот обвал, а он пытался сохранить в нем свое я – но все это случилось в одно мгновение.

Кусочки видений всего земного шара, увиденного двумя миллиардами глаз, осаждали его: видения дня и ночи, сновидений и яви, тропических джунглей и умеренного пояса, и ледяных верхушек планеты; видения равнин и гор, и бурного моря, затерянных хижин и деревень, и тысячи городов, видения фабрик и печей, угольные лица шахтеров и охотники в северных лесах, видения собраний и богослужений – и видения войны.

Вавилонское смешение голосов отдавалось в его измученном сознании. Они говорили на разных языках, и все языки были ему превосходно известны: голоса американских граждан, обсуждающих инвестиции, немецких гаулейтеров, силой водворяющих дисциплину, молящих о куске хлеба индийских крестьян, русских трактористов, китайских студентов – всех человеческих народов и рас. Он слышал бессмысленный рев ненависти, взвешенные фразы дискуссий и аргументов, шепот, передаю-

щийся от командира к солдатам в засаде, сладкие и тайные секреты влюбленных. Их объятия он ощущал также остро: в богатых домах и трущобах, на сеновалах и в темных аллеях. Бесчисленными ладонями он ощущал мягкие изгибы человеческих тел, текстуру одежды, дерева, холодного металла. Множеством подошв он чувствовал поверхность земли: горячей пустыни и снежных полей, городских мостовых и болот. Осаждали его и запахи: пота и роз, трупов и морского бриза, раскаленного асфальта и холодного дымного тумана, запах пороха, пыли, крови и внутренностей. И вкус всех блюд и напитков, которым наслаждались бессчетные рты, которые заглатывали все обжоры земли. Осаждали его и чувства испражнявшихся во всех странах, будь то в безупречных туалетах или в вонючих солдатских нужниках, или за кустами, или в голой пустыне. Ощущал он и иное облегчение – родовые схватки всех матерей: молодых, испуганных и опытных, усталых – роды, завершающиеся смертью и роды легкие, как у животных.

Помимо телесных ощущений всех человеческих органов, в него проникли все желания и страхи людей: их бесконечная любовь к себе и самопожертвование ради великих и пустых целей, мириады их рассуждений о достижении выгоды или божественности.

И вместе с тем он сознавал плотный и хрупкий дух каждой человеческой общности – от долговеч-



ной, но туманной индивидуальности нации, церкви, социального класса, до юного пылкого духа летного экипажа, маленького корабля, партийной ячейки, и мощного единства влюбленных. Столкнулся он и с прямолинейными разумами бесчисленных обособленных обществ – деловых фирм, профессиональных ассоциаций, профсоюзов, благотворительных организаций, маленьких приходов, церквей, клубов, и с незрелыми душами школ и колледжей, окутанных коконами традиций или стремящихся к новому росту. Космополитичные, но прискорбно разделенные военным временем умы пионеров науки во всех воюющих странах тоже присутствовали в нем, как и тысячи пытливых или закосневших культурных элит, «движений», сект и политических партий.

Дух тех погибших столкнулся также и с редкими святыми личностями, подобными святой города, которые через созерцание и единство действия приблизились к чистоте души, необычной для обычных людей. В них он признавал существа более просветленные, чем он сам. Он восставал против них, ревнуя к их превосходству, и в то же время жаждал подняться до них, включить в себя их более чистую натуру.



## Смерть духа убитых

Изнемогая под напором этого всеобъемлющего и скудного опыта, существо, исторгнутое погибшими в той битве над тем городом, разрывалось между отчаянной потребностью сохранить свою идентичность и жаждой объять все богатство опыта, воссоединиться со всеми разрозненными душами, как индивидуальными, так и групповыми. В нем боролись индивидуализм и любовь. Потому что, познавая эти полчища, мог ли он не ощутить глубокого сочувствия, родства, тяги к ним? Но они же угрожали его индивидуальности, они отталкивали его. Вновь и вновь он напоминал себе, что не самовлюбленность, а товарищество ведет к высшей жизни. И наконец, после долгой борьбы, он обрушил возведенные им же укрепления и принял в себя чужаков.

– Вы, великая туча существ! – вскричал он. – Хотя мы разделены, несомненно, мы – одно! В нашей внутренней сути мы едины. Под нашей отдельностью, нетерпимостью, мы есть одно – Человек.

Но едва он со страстью признал свое единство с полчищами иных, как пелена тьмы и беспамятства поглотила его. Цепляясь за сознание, он чувствовал, как распадается, испаряется под неким мощным влиянием, словно капля росы под солнцем. И вот он, индивидуальный дух, преходящий дух немногих убитых, погас. Он умер в великий дух человеческий.

## **Вторая интерлюдия**

Ты! Моя единственная, неповторимая, самая любимая! Даже ты, в сущности, бесконечно отдалена от меня, милый мой центр чужой вселенной. Хотя ты мне ближе всего на свете, ты в то же время порой ошеломляюще далека. Сколько десятков лет мы росли вместе в радостном, плодотворном, нераздельном симбиозе! Но и теперь я порой не представляю, что ты думаешь и чувствуешь. Ты склонна к действию, я – к размышлениям; ты отвечаешь на каждый малый призыв о помощи, я – (О, к несчастью!) на вселенские вызовы. Хотя мысли наши часто движутся в общем ритме, как танцующая пара, иногда мы расходимся на длину руки, или ступаем не в ногу, или разбегаемся, отброшенные друг от друга внезапной размолвкой. Сколько раз я говорил тебе: «Скорее, опоздаем на поезд!», а ты отвечала: «Времени еще полно»; или я: «Ну, вот и опоздали!», а ты: «Поезд тоже может опоздать». Ты даже в аду останешься оптимисткой. И в конечном счете тебе, конечно, приходилось прибегать к черной магии, и вот поезд дождался нас и мы молча сидели в готовом тронуться вагоне. Снова и снова наши различия причиняли боль и даже бесили нас, но в том ли дело? Ведь в конечном счете оно нас обогащает, это мучительное, но по большому счету желанное участие в уникальности другого.

Даже в этих резких размолвках разве мы не становимся реальнее друг для друга? В конце концов мы становимся только ближе. В них мы лучше узнаем друг друга, любим сильнее. Мы – все больше и неразрывнее – «мы».

Конечно, каждый из нас по-прежнему «я», а другой – «ты», далекий центр чужой вселенной, но все сильнее, все надежней мы вместе образуем «мы» – единый, хотя и двоемыслящий центр вселенной, общей для нас обоих. Мы вместе видим мир. Каждый из нас больше не смотрит на него под одним углом, он уже не видится нам плоской картиной. Мы воспринимаем его глубоким, стереоскопичным. Общим бинокулярным взглядом каждый из нас видит все с двух разных точек зрения.

Наши различия так же драгоценны, как наше единство, и наше единство – так же, как различия. Не будь глубокой гармонии в наших корнях и цветах, разве могли бы мы удержаться вместе? А без наших различий, как бы мы могли воспламенять друг друга?

Все в моем мире иное, чем в твоём. Каждое дерево, слово, человек. Так ли я вижу красный цвет, как ты? Возможно, очень похоже, ведь мы – сходные организмы, но может быть (как знать?) твой «красный» – это то, что я зову «зеленым». Важно ли это? Такие различия вечно будут для нас незначительными, потому что мы никогда о них не узнаем. Но справедливость, красоту, истину и хорошую шутку

мы можем разделить на двоих, и они для нас одинаковы. И, хотя у нас есть общие друзья, но, неизбежно, друг или любимый одного может оказаться противником другого. Эта рознь, неуловимо преследующая нас на каждом повороте или внезапно преграждающая путь огненной стеной, приведет к беде, если о ней забыть. Слепая любовь – вовсе не любовь.

Воистину, мы навечно разделены, навеки различны, навеки в чем-то несогласны; но разногласием тем более гармонизированы в нашем «мы», которое для каждого значит много больше, чем «я», и даже чем «ты». Как центры сознания мы остаемся навеки отдельными... но, участвуя в нашем «мы», каждое «я» становится богаче и щедрее, ведь это «я» дорожит не «собой», а «нами». И потому «я» без «тебя» – простой обрывок, клочок, полуслепой калека, призрак, воплощающийся только в «нас».

Это драгоценное «мы», созданное нами совместно, этот тесный союз различий, это сожительство и единение двух душ не вечно будет процветать на планете. Рано или поздно один из нас умрет. Тогда «мы», бесспорно, проживет ее немного в выжившем, как дорогая, но лишенная роста вещь. Когда умрем мы оба, наше «мы» исчезнет из мира. Что тогда? Конечно, нельзя поверить, что «мы» не будем иметь продолжения.

Да, но невероятное так часто случается.

Темны и для нас непостижимы темные пути темного Бога.

## **Глава 3**

# **Дух человеческий исследует свое прошлое**

*Дух человеческий и его члены – Детство Человека – Эдем и падение – Эра пророков – Тщетность пророчеств – Современная эпоха – Рассвет новой веры – Кризис болезни Человека*

### **Дух человеческий и его члены**

Та суть, тот всеобщий универсальный дух человеческий, единый для всех человеческих индивидуумов, пережил гибель преходящего существа, порожденного несколькими убитыми. Он скорбно наблюдал за гибелью тех мужчин и женщин. Ощущая их боль и горе как свои собственные, он все же возвышался над ними; так человек, чувствуя боль от порезанного пальца или разбитой костяшки, продолжает свое дело.

Дух человеческий пробудился в тот миг не впервые. Он бодрствовал всегда, во всех двух миллиардах живущих, составлявших его живую плоть; а



также и в каждом миге долгой жизни человечества он сознавал живое население мира. И во всех хрупких отдельных телах, даже самых недолговечных, всегда пребывал вековечный дух человеческий. Он знал их не только как души, отдельные от себя и друг от друга, но и так, как сознают чувства и идеи собственного ума, как человек сознает свои интересы и прихоти, страсти и высшие цели, борющиеся внутри его.

Дух человеческий встретился с городской святой и со святыми всех стран. Они явились ему не как нечто недостижимо высокое и чуждое, но как его истинное, внутреннее я, хотя часто они исповедовали ошибочные доктрины, ложность которых хорошо видел он, умудренный веками человеческой мудрости. Несмотря на свои заблуждения, эти ангельские существа в душе были воистину им самим – и тем более так, что они неустанно стремились за его пределы, за пределы обычной человечности к духу более чистому и богоподобному. Но и это стремление было его стремлением. И в умиротворении, обретенном этими редкостными существами в единении с их богами, он тоже обрел блаженство. Однако то блаженство было немым и неосмысленным. Не для него были их маленькие мифы. Для него их радость была скорее предвкушением другой, еще не обретенной и, быть может, вовсе необъяснимой. Ведь он хорошо знал, что ни разум, ни даже чистый

дух человеческий не способен разрешить высшую тайну.

Дух человеческий, в отличие от меньших, преходящих духов, исторгнутых убитыми в той битве, не смущался и не отторгал смятение человеческого опыта. Воспринимая посредством органов чувств всего человечества, он легко сливал все их ощущения в единую упорядоченную картину. Так, осяпывая землю множеством маленьких человеческих ступней, наблюдая ее роем маленьких человеческих глаз, он чувствовал и видел планету как разноцветный шар с материками, морями, тропиками, умеренными поясами и полярными шапками.

И с этого шара, на котором рассыпалось живой пылью его многосоставное тело, он теперь, как не раз прежде, с удивлением осматривался человеческими глазами и телескопами, обдумывая свое место и положение среди планет, звезд и галактик.

– Когда я стану совсем взрослым, – мечтал он, – а не тем птенцом, что теперь каждодневно терзается припадками дурного настроения, быть может...

Но тут огромность космоса в сравнении с его крошечными инструментами заставляла его фантазию умолкнуть.

– Я так мал, – бормотал он, – так молод, так невежествен и слаб, и так изуродован этими жестокими судорогами моей плоти. Какую роль мог бы я играть среди звезд?

Упрямая тяга к чему-то, чего он сам не знал, беспокойное желание проявить какие-то скрытые силы, еще неявные ему, снова и снова направляли его взгляд к звездам, и восторг в нем боролся с самоуничтожением. Но главным его интересом было ближайшее будущее, будущее маленькой планеты и этой звенящей многосоставной плоти – человечества. Его ли это плоть? В некотором смысле, да, его многоклеточная плоть. И все же его единое восприятие каждого своего члена сильно отличалось от смутного осознания человеком клеток тела. Ведь он мог усилием воли сосредоточить внимание на любой из своих малых личностей. Для него они были сразу и людьми с открытыми для него умами, и частями его собственного ума и тела. Отдельные жизни великого воинства его членов сливались в единую эпическую тему – основу его бытия.

Для него весь океан человеческого опыта образовал вовсе не хаос, а единый, отчетливый, хотя зачастую противоречивый узор самопознания и познания мира. Для человека, смотрящего с уровня моря, волны могут казаться беспорядочными, но с самолета он увидит упорядоченные ряды, множество полков и дивизий, движущихся в разных направлениях, проникая друг в друга, но не теряя своей идентичности, отражаясь от мысов и далеких берегов, вовлекая каждую каплю воды в общий ритм; однако в одних областях доминирует одно направление движения, а в других – иное. Так же, только в

куда большей сложности, дух человеческий видел и чувствовал мысленное поле, сложенное из всех человеческих личностей. Его пересекали множество доминирующих идей и целей, а эфемерные зефиры рябили то одну, то другую часть человеческого моря легчайшими прикосновениями страстей или моды.

Например, что касается множества человеческих призваний, великий дух человеческий ощущал бесчисленные склады мыслей, сформированные в общей человеческой природе обстоятельствами и личными пристрастиями мужчин и женщин. Крестьяне, хоть и бесконечно разнообразные, были в основном крестьянского склада ума: бережливы, терпеливы, богаты знаниями о земле и суевериями. Фабричные рабы жили большей частью ради кратких часов досуга. Их корни голодали, как корни ростка в пустыне, но многие отважно распускали цветущие лепестки любви. Умы финансистов были сотканы в основном из цифр и биржевых абстракций. Эти были на удивление бесчувственны к тому, как отзываются их указания в жизни мужчин и женщин. Но и они были индивидуальными душами, способными к любви. В сознании врачей выплывало представление о сложностях человеческого тела со всеми его нестроениями. Для моряков мир был в основном водой, для шахтеров – штреками.

Одно направление мыслей дух человеческий улавливал по всему полю человеческих мыслей – то слабо, то выпукло; то навязчиво, словно высвечен-

ное лучом мысленного прожектора, то как тайное влияние из неосознанных глубин личности. Все малые человеческие существа жаждали – откровенно или прикрываясь отвращением – интимного телесного контакта с подобным себе существом – либо в нормальном союзе полов, либо в более эксцентричной форме. Навязчивость этой жажды, хоть и связанной условностями, окрашивала каждое чувство, каждую мысль индивидуальных членов Духа. Окрашивала она и его собственное мышление самолюбованием Адониса – сладостно-таинственной, бисексуальной, гермафродитческой, чувственной и духовной страстью, недоступной отдельным людям. Так, дух человеческий наслаждался красотой всех взрослых мужчин и женщин – глядя на них любящими глазами их возлюбленных. Его сокровищем было не только духовное единение, но и телесная радость всех любовников.

Но сознавая всю эту красоту и любовь наравне с собственным опытом, он с отчаянием ощущал в своей плоти ширящееся нездоровье и увечья. Красота его членов, зачастую изысканная, в иных местах была испорчена, изуродована. Голодание, болезни, перенапряжение и все виды дисгармонии с миром и друг с другом пятнали почти каждый член и подавляли сам дух человеческий желтушностью членов. И он помнил, что так продолжалось много тысяч лет.

В каждом члене он, его истинное я, всегда было духом, жаждущим понимания, мудрости, общения, любви, красоты и творчества – однако почти во всех малых человеческих созданиях этот дух вечно одолевали паразиты глупости, ненависти, уродства и всяческих предательств. И повсюду присутствовал страх: страх не только перед угрозой войны, но перед смертью во всех видах – перед неизлечимой болезнью, нищетой, бесчестьем, потерей любимых. Все эти самолюбивые страхи людей ощущались высшим духом человеческим со всей остротой, хотя и отстраненно. Ведь те крошечные эфемерные создания, что составляли его плоть, не были им самим. Их нездоровье подавляло его, как всякое нездоровье тела подтачивает жизненные силы и смущает ум, но все же печали этих душ не были его печальями. Он, хоть и ощущал их внутри себя, ощущал отстраненно.

Удивительно другое: что его чувства к ним не ограничивались этой отстраненностью. Уже потому, что все они на свой манер были личностями, создающими себя и других, его эгоистичная забота об их радостях и горестях странным образом смешивалась с уважением и сочувствием, да, и с любовью, неприменной между личностями, как бы ни были те отдалены друг от друга иерархией. Человек не способен любить свои мозговые клеточки, потому что не знаком с ними и они – не личности; а дух человеческий, зная людей изнутри и зная их как лично-

стей, по необходимости любил их такой любовью, какая им причиталась. Он любил их за то, что они - сразу и он сам, и не он; за то, что все они, непохожие на него своей малостью, разнообразием, хрупкостью и смертностью, все же подобно ему ощупью стремятся к свету.

Больше того, они были связаны с ним страной взаимной зависимости. У него без них не было бы опоры в мире, а они без него, вечно деятельного внутри них, были бы низшими животными. Без них для него была бы недоступна любовь, потому что любовь возможна только при их разделенности. А без него в их сердцах не было бы любви, потому что они не смогли бы истинно распознать друг в друге духовную сущность, объединяющую их внутренне. Через единство духа со своими членами в поле человечества, пусть неуверенно, устанавливался единый ритм товарищества и даже любви. Конечно, любовь расцветала полностью далеко не всюду - лишь среди просветленных и тех, кто любит на всю жизнь, да еще в тех немногих, кого вдохновляет любовь к человечеству, или к самому духу человеческому, или к некому воображаемому Богу.

Из-за несбывшейся любви своих членов сам дух был болен, обессилен их несогласием, путался в их противоречивых фантазиях.

Особенно терзали его конвульсии плоти в этот век насилия. Он изнемогал, ощущая чуть ли не в каждом спазме и невыносимую усталость от войны.

Только в глубине джунглей да в снежных хижинах Арктики люди были вполне свободны от влияния войны. По остальной земле всех тяготили страх и тревога, даже если они были только тенью, лежащими на их обычной жизни. А некоторым война несла беспмятную темноту души, простреленную вспышками необходимых удовольствий или бледным светом надежды. В каждом, кроме немногих прирожденных вонтелей и нескольких стратегов, склонившихся над шахматной доской войны, да еще тех, кто извлекал выгоду из военных лишений, дух человеческий ощущал согласную вибрацию мечты о мире; хотя большинство в то же время страшилось того, что принесет мир. А во многих и обширных частях человеческого поля война яростными ударами сокрушала мужчин и женщин.

Для его членов война была затяжным мраком и несчастьем, духу же она представлялась краткой, хотя и мучительной судорогой тела, парализовавшей мозг. Он видел в ней кризис хронической болезни. Его органы, давно не ладившие друг с другом, разделились теперь в безумной схватке. И, хотя он не мог не желать победы той стороне, которая в целом была за свет, а не другой, слепо заблуждавшейся, но сочувствие его разделилось – ведь на обеих сторонах, хотя и в разной мере, были мужчины и женщины, неумело повиновавшиеся его воле, и на обеих сторонах имелись злокачественные, мятежные разрастания. Каждый день множество его ма-



лых членов: драгоценных клеток тела, сосудов, основы его существа – гибли или получали жестокие увечья. Повсюду растрачивались молодые умы, надежды на славные перемены, представлявшиеся духу неизбежными. Великое истребление юных должно была состарить все его ткани. Он, для кого миллион лет был возрастом детства, рисковал преждевременно одряхлеть. В самом деле, если не положить предел взаимному уничтожению людей, вся раса способна погубить себя, и он, дух человеческий, еще такой юный, полный надежд на великие и славные перемены, скончается до срока.

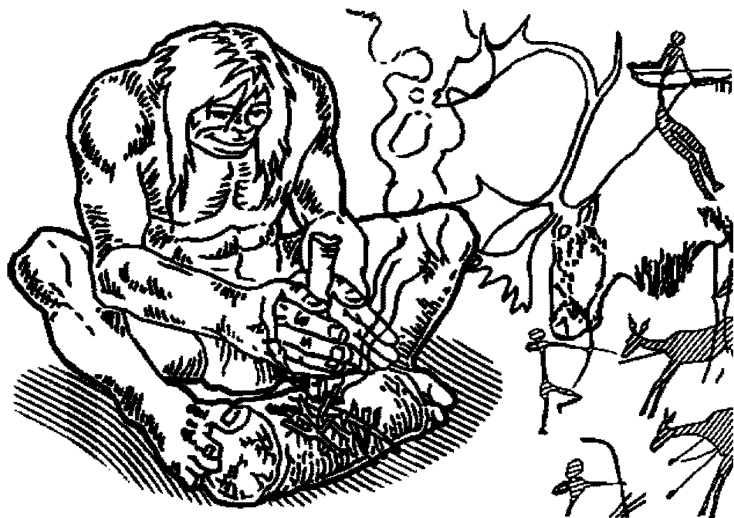
Славные перемены! Прорезая волны и рябь человеческих мыслей, дух человеческий ощутил под ними в каждой стране, в каждом уме, мощные конфликты воли. Те кидались друг на друга, как встречные волны во взбаламученном озере, и пульсировали, бились в конфликтующем ритме. С одной стороны, сознания людей были взволнованы мечтой о возвращении в материнское лоно, о простом блаженстве, о безопасности, о знакомом порядке со знакомыми бедами и знакомыми достижениями. С другой – умы тянулись к новым горизонтам, к свободе жизненных сил, и изнывали на привычных путях. Этих воспламеняло негодование на скудость собственной жизни и жизни ближних. Здесь и там они возвышались даже до страсти к цветению человеческого духа и к новорожденному миру, единственно пригодному для такого цветения. Дух видел, что хо-

тя этот конфликт всегда разделял людей, теперь, в этот напряженный момент, он стал серьезнее и резче. Сам не понимая, отчего, он ощущал, что наступил переломный момент его жизни. Что-то странное, небывалое, опасное, беспокойно бродило в его плоти. Что это за лихорадка: всего лишь кризис известной, долго подавлявшейся болезни, или это жестокое смятение предшествует великой перестройке, рождению нового существа, более тонкого и более живого?

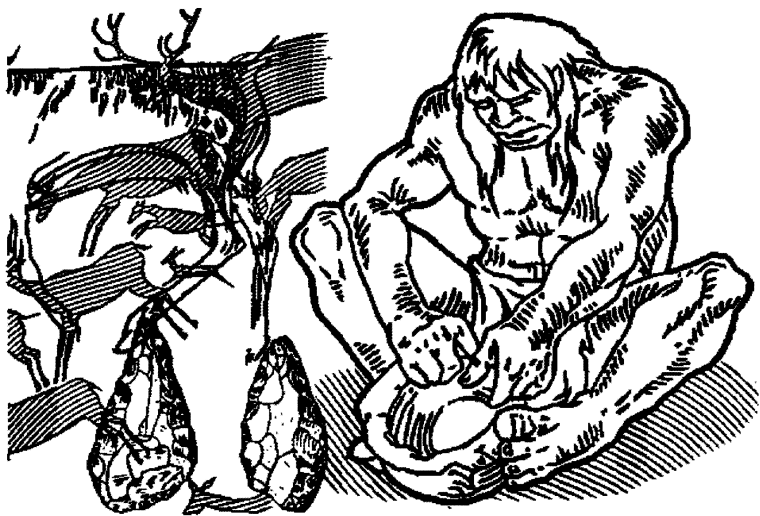
### Детство Человека

Ведь столько веков, столько тысячелетий дух человеческий мучительно выяснял цель своего существования. Как это было медленно поначалу!

Он оглядывался в глубины своего прошлого. Эпохи человеческой истории и предыстории теснились в его памяти. Как человек возвращается в свое детство и проникает даже сквозь пелену младенчества, так озира́л свою жизнь дух человеческий. Каждая стадия его прошлого лежала перед ним, и первыми вспоминались века, стянутые в узел дочеловеческой древности. Из их тьмы он воспрянул к жизни как отдельный, вполне человеческий младенец мужского пола, первый настоящий человек, рожденный предшественниками людей. И сам он внешне едва отличался от своей еще не человеческой родни. Только в редких проблесках духа он был человеком.



В этом нашем праотце впервые пробудилось дыхание Человека. И дух хорошо помнил, как медленно пробуждался в своей первой, зародышевой клетке, как медленно открывал свою уникальность. Ведь никто так мучительно не искал себя, как этот отец наш Адам. Любя свою мать за ее звериную привязанность, он ненавидел ее за тупость к его человеческим потребностям. Принимая своих братьев и сестер как товарищей, он презирал их за глупость. Скоро он, младший, стал их повелителем. И потом, в юности и зрелости, он был их гением, шаманом и тираном дочеловеческого племени. Робкий и надменный, почитаемый и ненавидимый, сходя с ума от одиночества, лишенный речи и поддержки



традиций, первый настоящий человек был так беспомощен, что дух, оглядываясь на него из будущего, едва узнавал в нем человеческое. Но даже воспитанный полузверями, невежественный и немой, растерянный, томящейся неосуществленной человечностью, он был по природным способностям вполне человеком. Человеком по природе, хотя по воспитанию – почти животным. Он принимал простые обычаи своих сородичей и довольствовался тем, что побеждал в их незатейливых играх. Но дух человеческий, озирая жизнь первого человека, вспоминал и случал, когда, в незнакомых муках самосознания, он бессильно, как мотылек в оконное стекло, бился в закрытые окна своей природы, и как

ждал от своих товарищей и своей женщины того, чего они никак не могли дать, чего он сам еще не создавал – осознания его личности и истинной любви.

Далеко, о, как далеко ушел дух человеческий от этого Адама! Теперь он, по крайней мере, ясно создавал свою природу. И это знание, вопреки всем его ошибкам, было вечным светом. Да – но что же его члены? Сравнивая свои нынешние члены с Адамом, он видел, что большинство из них не многим просветленнее. Вот, к примеру, один кормовой стрелок, которому все пророки и философы его века не помогли разобраться в собственной натуре. Любовь он представлял так же смутно, как Адам в своем человеческом мире; мудрость при всех ухищрениях науки, была ему более чужда, а уж творческой деятельности в нем было много, много меньше, чем в Адаме.

Иные из отпрысков Адама родились со светлым умом, подобным отцовскому, и среди них, в товариществе или инцестуозной связи, впервые пробудилась человеческая любовь

Когда отец их Адам наконец умер, когда уничтожилось первое истинно человеческое я, дух человеческий отделился от этого эфемерного существа и пробудился к более ясному, хотя все еще неуверенному проникновению в свою и адамову природу; так же много позже, со смертью одного кормового стрелка, пробудился более светлый дух. Все еще

скованный пределами невежества бедняги Адама, он не был связан его жадностью и страхами. И был восприимчив ко всем тонкостям, что смущали его ум при жизни. Вот тогда, еще смутно, еще не обрета крылатой колесницы речи, дух осознал, что главной его заботой всегда будет познавать, любить, создавать.

Дух человеческий, заглядывая в эпохи своего долгого младенчества, видел, как потомки Адама медленно завоевывали власть над племенами полузверей.

Каждый из этих первых настоящих людей жил той же полужвериной жизнью, хотя и правил жалким получеловеческим скотом; и порой странная искра, вспыхивая внутри, манила их к более человеческому обычаю. Но как же темны, как затуманены были их умы! И все же те проблески, которых были лишены их дочеловеческие предки, влекли некоторых из них, как и последующие поколения, к верности Духу, который уже жил в них манящей искоркой; всего лишь редкими прозрениями, вспышками понимания, взаимного сочувствия, мимолетными чудесами светлой любви или мудрости, краткими, летучими мгновениями божественного творчества. Наши первые предки были внутренне не менее людьми, чем современные люди – так же сознавали себя, были умны, способны любить – но им не доставало сокровищ долгого опыта, собранного и сбереженного тысячами поколений.

А без опыта они лишены были способности судить и определять ясные человеческие цели. Он, дух человеческий, в этом далеком младенчестве, тоже не умел судить; а цель его, хотя по сути уже человеческая, была неопределенной, не обозначенной четко, и даже не постоянной. Ведь в первые эпохи человека даже его дух не обладал остротой зрения.

Тысячелетия младенчества сменяли друг друга, как недели в жизни ребенка. Члены его множились. Они распространялись по всем материкам: редкая чувствительная живая пыль на огромном теле Земли. Дух вспоминал, как вспоминают собственное, добытое тяжким трудом достижение, как они учились и забывали, и снова учились тем искусствам и знаниям, что стали первыми человеческими традициями. Дух упивался воспоминаниями о первых звуках запинающейся еще речи, вспоминал, как из знакомого ворчания и криков в знакомых ситуациях медленно проступал смысл. Как собственное прозрение вспоминал он и работу древних гениев, впервые превративших камень в метательный снаряд или в молот, впервые придавших форму орудия кремню, впервые выхвативших пылающую ветвь из лесного пожара, чтобы приручить и использовать эту яркую кусачую тварь, впервые приручивших собаку, лошадь, превративших катящееся полено в колесо. Вспоминал он, как они шли с материка на материк, как их каноэ с людьми уносила буря. Это он, он сам (Как ему это помнилось!) через разум

первых шаманов впервые использовал значки как знаки, он впервые научил их обозначать символами свои нужды и вдохновил на рисунки на стенах пещер, на ритмичные песнопения. Он же помог им посредством растущего искусства жеста и интонации, после – посредством танца и песни, скульптуры и живописи, ускорить познание себя и других, ужаса и красоты мира. Он же зародил в них зуд познания, так что они, спеша понять, ребячески объясняли вселенную в терминах своей охотничьей науки или крестьянской мудрости.

Короче говоря, именно он (как ему казалось) был для них светочем, а порой – манящим в трясику огоньком, он вынуждал их измышлять, а потом отвергать иллюзию за иллюзией. Да, все это делал он, дух человеческий, хотя и был не более, как этими самыми малыми своими членами, на высотах прозрения объединявшимися в союз умов.

## Эдем и падение

Через десять тысяч веков после рождения из чрева получеловека, в полном расцвете своего детства, когда поколения охотников, рыбаков, собирателей плодов и трав, кочевых пастухов, а затем и оседлых земледельцев, сыграли свою роль в создании длинного гобелена первой культуры... тогда, ах, тогда настал счастливый век! Дух человеческий помнил, что в те времена он горел ясным и ровным огоньком в



каждом сердце, питаюсь крепким, хотя лишь наполовину осознанным обычаем рассудка и дружелюбия. Люди жили в райском саду – и в невинности. Не было войн, и насилие человека над человеком бывало лишь безумием одиночек. Семьи охотников и пастухов, общины земледельцев, объединялись общей целью и трудовым товариществом. Каждая семья была крепкой командой, конечно, тревожимой спорами и ревностью, но скрепленной корнями взаимного приятия – и эти корни уходили куда глубже, чем корни временных экипажей корабля или самолета. Благодаря этой цельности социальной ткани человечества, то время было светлой эпохой, освященной в преданиях под именем Золотого Века. Дух человеческий, оглядываясь назад из нашего мучительного века, рисовал в памяти давнее благоденствие своих членов – и вздыхал. Венцом этой блаженной эры стали первые города, расползшиеся каждый среди своих широких нив и заронившие семена нового изящества и тонкости ума. Все они были безоружны. И владыки, и короли были лишь первыми среди братьев. Каждый человек заботился обо всех.

Но понемногу разбухшие города возжаждали новых земель, стали соперничать в роскоши, и тогда возникли империи, связанные силой оружия. И часто далекие варварские племена, алчущие богатства и власти, низвергали целые цивилизации. А между тем множество крестьянских хозяйств, где

ранее трудились свободные общинники, сплавливались в огромные поместья, и их хозяева принуждали к труду в них толпы рабов.

Дух человеческий, вспоминая эту стадию своего детства, видел, что тогда он впервые ошибся. Тайный яд проник в его плоть и зародил тлеющую раковую опухоль, которая терзала его с тех пор. До того жадность человека умерялась безусловным обычаем братства. Возможности захватить власть представлялись редко, а противодействие властолюбцам было мощным. Но в благоденствующих городах людей стали манить новые блестящие трофеи. И оттого, что их блеск заморозил всех, противодействие заносчивым и самолюбивым ослабело, сохранившись лишь среди рабов, а кому есть дело до рабов? И откуда у них – вопрошали хозяева, – сила противодействовать? Это всего лишь умирающий обычай минувшего, племенного века. Нет, людей околдовали новые амбиции. Новая мораль нашептывала в их сердцах, притворяясь правдой. Богатство, военная сила, имперское величие требовали всеобщего союза.

Дух человек помнил, что даже сам он в те времена обманулся новыми необычными ценностями. Ведь в предшествовавший, Золотой век, его множественное тело было беспорядочным роем малых племен, а теперь упорядочилось, и ему показалось, что ради порядка целого стоит пожертвовать частью. Порядок обещал его телу новую силу. Органи-

зовавшись в большие государства, в иерархию социальных классов, его малые члены (казалось ему) разовьют новые органы чувств, новые творческие навыки. В новых городах часть людей, освобожденная от рутинного труда массами тружеников, смогут целиком посвятить себя вопросам духа, природы человека и его судьбы. Вот так даже самому духу человеческого показалось, что новый порядок откроет новые просторы; и он забыл о множестве отдельных членов, рожденных личностями, но обреченных новым порядком на рабство, на то, чтобы стать винтиками огромной машины.

Вспоминая свою прошлую глупость, он восклицал:

– Какой бес, какая сила тьмы крошечной прокралась в каждую ткань моей плоти, и даже в мое внутреннее я? Или что за слабость моего существа так подвела меня?

Он смотрел на толпища тружеников с увечным духом, возделывавших неподатливую землю убогими орудиями, чтобы содержать богатых в роскоши; волочивших огромные глыбы, чтобы возвести храмы для жрецов, дворцы и гробницы для королей. В каждом отдельном страдающем рабе, в миллионах их, поколение за поколением, присутствовал дух человеческий. Он видел каждое дитя, которому отказали в прирожденном праве человека, чью надежду на счастье разбил тяжкий труд и жестокость. Жил он и в умах привилегированных, которым полага-

лось бы стать утонченными орудиями его пробуждающейся мысли, но в них он чаще находил одержимость роскошью или личной славой, да еще мечты о бессмертии. Он смотрел, как они сплетают множество мифов о жизни будущей и посвящают половину своей энергии и труды бесчисленных рабов тому, чтобы закрепить за собой место в ином мире.

Обозревая эти тысячелетия в конце своего детства, дух человеческий видел, что силы человеческие непрерывно возрастали. Города становились пышнее, империи – огромнее, армии все лучше вооружались, ремесленники копили мастерство. Но давалось это ценой пота, а порой и крови бесчисленных рабов. И высшим классам это представлялось естественным и правильным, потому что товарищество древних племен забылось. Пусть между любовниками, между друзьями, среди работающих вместе иногда вспыхивала любовь, но общество теперь связывалось не товариществом, а стальными узами власти. И хотя в ярких умах шевелилось любопытство к тайнам вселенной, они по-прежнему утоляли этот зуд фантазиями, измышленными в меру прихоти. Они не могли еще ясно понять, что такое мышление и каков потолок его полета. Ни любовь, ни разум не стали путеводной звездой.

Дух человеческий припоминал, как в то время и сам он отклонился от пути, который почти прочертил для себя в Золотом Веке. В эпоху рабства и им-

перий болезнь плоти затуманила его разум и затемнила чувства. Он был подобен человеку в горячем бреду. И новая приманка власти смущала его, как бредовое видение. Но даже в ту темную эпоху там и здесь снова и снова он обретал просветление: и в уме непризнанного пророка или смиренного раба он, пусть тщетно, возвещал некие грани истины.

### Эра пророков

Переводя луч мысленного прожектора на следующий этап своей жизни, дух человеческий припомнил внезапное пробуждение, переход от детства к отрочеству.

Терзаемый отчаянием трудящихся роев и бесплодностью высших, напутанный собственным бредом, он, дух человеческий, собрался, наконец, с силами и вновь пробудился, чтобы вновь, и более полно вернуть себе понимание происходящего и бороться, как не боролся прежде, со слабостями собственной природы в отношении своих членов и целой вселенной.

Сквозь минувшие века болезни он яснее постигал, что значит здоровье. Став участником великого зла, он тем настойчивей стремился теперь к добру. Иные из обуревавших его дурачеств легко отвергались, с другими было труднее. Его никогда не искушала мысль, что возвышение одной империи, одного властителя или благородной касты что-то значит.

Не более, чем человек может быть верен правой руке за счет левой. И вечная жизнь малых человеческих личностей не казалась ему ни желательной, ни вероятной. Он слишком хорошо сознавал их малость и обыденность. Слишком часто, в самый момент смерти, он вырывался из утопающего отдельного духа и наблюдал, как тот гаснет.

Но в междоусобной борьбе людей за власть и империи духу виделась надежда на мировой порядок и на его самовластное правление всей плотью. Очарованный этой надеждой, он забыл о деградации, которую несло его членам рабство. Но теперь уж никогда, никогда он не убедит себя, что может процветать на их деградации, и не позволит себе заниматься несколькими равнодушными, в то время как множество других страдают.

Зарождалось в нем и нечто большее. Поскольку все его малые члены, даже самые слабые и увечные, были личностями, он, допустивший их деградацию, видел, что не просто повредил собственной плоти, не просто притупил собственный разум – он согрешил. И это признание своего греха стало для духа человеческого новым, ужасным и поучительным опытом. Он открыл, что неким, еще неясным ему образом, несет обязательство почитать и лелеять жизнь отдельных душ любого порядка. Со стыдом и раскаянием он признавался себе:

– Даже будь рабство и империя настоящим путем к моему возвышению, я должен был бы отвергнуть

их. Принимая их, я грешил против чего-то, лежащего в самой глубине меня – и это не только мое сущее, но и нечто много большее, чем я.

В душевных терзаниях он воскликнул:

– Я, дух человеческий, согрешил против Духа!

И с этим, невольно вырвавшимся у него криком, он впервые постиг, что он, дух человеческий, не закон в себе, не верховный полномочный судья собственных поступков, не мера всех вещей. Но какая сила, какое божество могло бы властвовать над ним?

Оглядываясь на это ужасающее открытие, вспоминая вопрос без ответа, он, спустя тысячу лет, хорошо помнил, как после того полупросветления озирает Землю глазами египтян, вавилонян, индусов и далеких китайцев, и отрезанных от мира, диких еще американцев.

Разбросанные по миру глаза людей открыли ему дневную и ночную половину планеты. Он ничего не знал о природе солнца и звезд, но знал, что ничего не знает. Он не ведал ни того, что они – всего лишь огненные шары, ни как они огромны, ни об окружавшем их непостижимом пространстве. Но в порыве страстного раскаяния ему представилась, что соседние полутемные шары – живые, подобно самому духу, только больше, и что их свечение – блеск гневных глаз.

Оглядываясь на те дни через пролив столетий, дух человеческий снова ощущал горький вкус вины за ребяческий грех и вновь видел гневные очи не-

бес. Хотя он, несомненно, искупил свой грех – ведь поколение за поколением он жил и страдал в угнетенных, разделяя все их горести – и разве его не мучила жалость?

В своем детском раскаянии он задумался, чем мог бы загладить свое прегрешение, как свергнуть допущенную им тиранию и тем исцелить плоть, очистить заблудшую волю?

Наконец, в невинной надежде, он решился на двойной план. Усилив собственную волю серьезными размышлениями, с новым вниманием и почтением к ищущим душам святых, он будет более, чем когда-либо, проявлять свое присутствие в душах всех мужчин и женщин. В то же время он станет выбирать те свои члены, которые более других сознают его, чтобы превращать их в сосуды света. Этим предстояло стать орудиями его чистой цели. Они будут влиять на всех, смиренных и могущественных, как исходная клетка управляет ростом ткани. Они подействуют на людские умы так, что все отныне с радостью отдадутся великой цели и будут служить ей вместе с духом. И тогда тирания уйдет, раковые опухоли, поразившие его плоть, растают, и тело его исцелится.

Он доблестно исполнил свой план. С удвоенной силой, порожденной новой страстью, он пробуждал умы людей во всех странах, так что они возжаждали, пусть пока еще смутно – новой жизни. В то же время он избирал себе пророков – много малых и



несколько великих – чтобы те постигали и проповедовали истину. Так вышло, что на протяжении нескольких столетий избранным являлись возвышенные видения, покорявшие людей до недавнего времени.

Вспоминая свои юношеские надежды после веков разочарований, дух человеческий с улыбкой вздыхал. Как легко он поверил, что врага можно победить, беса – изгнать!

Впрочем, то была отважная попытка. Страна за страной, пророк за пророком – и все они проповедовали различные аспекты истины. И сердца людей загорались. Каждый пророк говорил на языке своего народа и приспособлял идеи к понятиям своего века. Так что, даже в их умах, угаданная истина была пронизана ошибками. Принимая старых богов и старые табу, они стремились очистить все это светом пламени, зажженного в них духом человеческим. Но, будучи созданиями своего века, они не могли бросить в огонь старых кумиров.

На Востоке молодой человек царского рода, отгороженный от истины роскошью и торжественными церемониями, решил узнать, как живет простой народ. Повсюду он встречал нужду, болезни и горе. И повсюду люди были рабами своего страдания, как сам он был рабом своих наслаждений и высокого положения. Он видел, что ни в личных победах, ни в погоне за заветными желаниями люди не находят покоя. Дух человеческий подвигнул юношу на поис-

ки путей к покою, к реальности, для своих смертных собратьев. Провидя, что в мире вечно торжествуют наслаждения и слава для избранных, этот пророк решился полностью освободиться от желаний, кроме одного: желания отказаться от воли и от собственной личности, растворившись в духе не просто человеческого, но в духе космоса. Потому-то индивидуальные я людей, вечно поработанные удовольствиями и терзаемые горестями, виделись ему всего лишь фантомами, частицами универсального духа, представляющимися реальными самим себе лишь из-за странной изоляции, оторванности от вселенной. Чтобы обрести свою реальность в целом, человек должен был полностью отказаться от себя, убить свою личность. Пока он оставался в мире, он должен был целиком отдаться служению ближним, но и к ним он не должен был привязываться, памятуя сердцем, что все они, как и он, странствуют по предначертанному пути к окончательному растворению своих ограниченных я во всеобщем Духе.

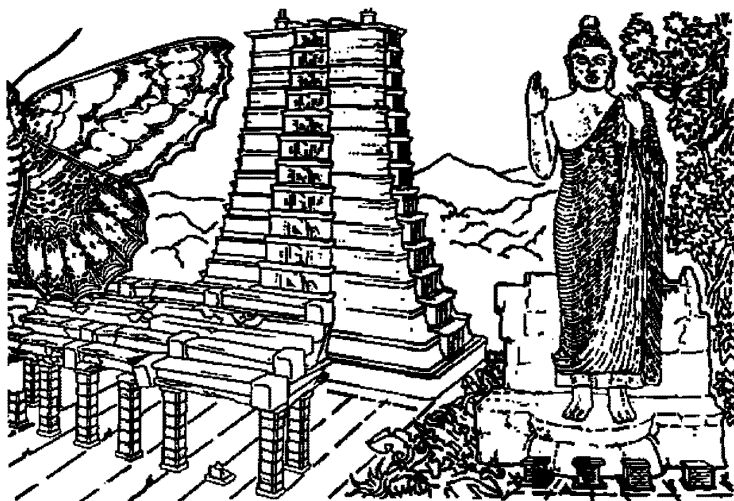
Другие великие пророки Востока более подробно описывали Путь, который давал человеку единственную надежду уйти от своей малости и рабства – Путь разума, терпения, взаимного уважения и самоотречения.

На Западе же другой – апостол истины и поклонник мудрости, превыше всего желал очистить мысль человека терпеливым вопрошанием, и утверждал, что разум так же может привести человека к



возвышению над собой, показать ему себя как равного среди подобных ему смертных братьев. Он утверждал, что предпочитать себя другим – ошибка разума, и что верной целью для каждого было бы проявление духовной сути человека в цельности своей жизни.

Еще один, между Востоком и Западом, принес своему народу видение единого всемогущего творца, законодателя, справедливого и ревнивого Бога – высшего, самого ужасного и святого. Это видение он нашел в своем сердце, взыскав нового, благороднейшего закона. Он видел, что его ближние погрязли в грехе. Они лгали, обманывали и мздоимствовали. Они были бессердечны друг к другу. И главное,



все богатые использовали свою власть не для освобождения бедных от нищеты, но для их порабощения. Все, все на тысячи ладов непрестанно грешили против духа. Но и в них была любовь, и любовь была их спасением. Пророк в своей обыденной жизни открыл, что люди неизбежно являются частями друг друга, и что лишь во взаимном прозрении и в дружбе находят они воплощение себя. Так в любви, в которой каждый забывает о себе ради другого, каждый дух обогащается чужими радостями, и в сообществе любящих сама любовь возрастает.

Давным-давно одинокий Адам нашего рода слепо и тщетно жаждал человеческого общества. Хотя с тех пор поколения человеческих существ вкусили

дружбы, любви, трудового товарищества, но еще не постигли явно их превосходства. Наконец этот великий пророк, избранный духом человеческим своим орудием и как никто умеющий любить своих ближних, ясно увидел, что в отношениях взаимного постижения, дорожа друг другом, отдельные личности преобразуются, растворяются и перестраиваются в более изысканную форму, получая во владение нечто большее, чем они сами. И он утверждал, невольно используя образы своего народа, что славное единение человеческих душ и есть сам Бог, всеблагий, всеведущий и всемогущий. И, поскольку этот пророк был воистину вдохновлен духом человеческим и возвысился над другими смертными в силе любви, и, поскольку в его времена люди ожидали великого вождя, он поверил, что сам он, Сын Человеческий, был также и единственным Сыном Божьим, и что ему суждено стать вождем не только собственного народа, но и всего человечества. И, поскольку дух человеческий, пребывающий во всех сердцах, желал искупить свой давний грех, принесший страдания всем людям, пророк поверил, что он, Сын Человеческий, постигший в себе сына Бога, который есть любовь, был послан божественным отцом на смерть во спасение человечества.

Были и другие пророки, великие и малые, во всех обитаемых землях. Их подстегивал оживившийся внутри дух, но смущали желания и фантазии первобытных культур, так что эти пророки немного воз-

вышли свои народы, но в то же время еще больше запутывали их в фантазиях. Суть пылавшей в них истины была повсюду единой: превосходство мудрости, любви и деятельного творения. Но одни проповедовали одни аспекты, а другие проповедовали иные, и все их писания искажались тягой отдельных смертных к бессмертию для своих малых я

### Тщетность пророчеств

Дух человеческий, оглядываясь на два тысячелетия назад, к векам своих великих трудов над пророчками, вздыхал с улыбкой. Как много сил он отдал, чтобы воспламенить свою неподатливую плоть! И поначалу, то там, то здесь, он достигал успеха. Люди, один за другим – член за членом его множественного тела – вливались в ускоряющийся поток великой идеи. В одной стране за другой немногие вдохновленные и овладевшие собой являли людям примеры жизни в служении духу. Казалось тогда, что все его тело оживает. Но яд еще оставался в тканях, и справиться с ним было нелегко. Ведь самое строение его плоти, социальный порядок человеческих отношений, слишком долго уродовался болезнью. Форма общества, организация людей в иерархию общественных классов создавалась этим ядом, и структура эта благоприятствовала скорее болезни, нежели здоровью. Как ясно он видел это теперь!

Правда, под влиянием пророков там и тут делались попытки учредить новые общественные формы и новый образ жизни. Люди собирались в церкви или уходили от мира в монастыри, или становились отшельниками, взыскупая спасения индивидуального духа, или посвящали себя беззаветному поклонению тому Богу, которого проповедовал им пророк их племени. Здесь и там одиночки отважно пытались исправить дурные формы человеческих отношений и обрести общество, в обыденной жизни которого проявлялся бы дух. Однако древние иерархии, как светские, так и церковные, сохраняли силу. Правда, век за веком разрастались новые, хрупкие, но здоровые социальные ткани, и некоторые из них в конце концов образовали мощные органы. Здесь и там они даже возобладали над старым порядком. Но чем больше они росли, там сильнее заражал их стойкий яд. Вздымающаяся волна духовной энергии, несшая на себе пророков и их первых учеников, не смогла подточить твердыни врага: и понемногу прилив стал отступать, оставляя после себя разрозненные обломки того, что когда-то было орудием великого воскресения. Дух человеческий помнил, как он изнемогал в попытке снова побудить свои члены к борьбе, а они между тем уже примирялись со злостным старым порядком. Тщетно он боролся. Здесь и там, снова и снова на протяжении веков тлеющие угли вспыхивали пламенем. Вставали новые пророки, новые движения зарождались в серд-

цах людей, вдохновлявшихся либо мимолетным возвращением прежнего жара, либо отвращением к новым низостям. Но пламя скоро гасло, новые общественные институты переваривались старыми. Новые органы подтачивал яд.

Снова и снова, век за веком, страна за страной — дух бунтовал, но силы его слабели. Вспышки жизни были лишь запоздалыми волнами, идущими против течения отлива.

Дух человеческий, оглядывая те времена из эпохи, которую мы зовем современностью, направлял луч мысленного прожектора на весь тот период, когда тускнели духовные страсти и нарастали материальные силы. Все это время огромные массы его малых членов были рабами фактически, если не теоретически. Без тяжкого труда многих не было бы ни роскоши для избранных, ни самой структуры общества. Иной раз группа работников, озлобленных бедствиями, решалась на бунт. Но на них тотчас обрушивалась вся мощь общества и, либо силой оружия, либо тиранией мифов, внедрявшихся в их затуманенные умы, взбешенная община покорялась.

А счастливы ли, между тем, становились все богаче и все изысканнее.

Как больной вспоминает блуждания горячечных мыслей, так дух человеческий вспоминал слабость и смятение своего разума в те времена. И еще он вспоминал, как снова собирал силы для новой попытки очистить больное тело от яда. Его члены все



более и более втягивались в установленный порядок вещей. Они судили, основываясь на авторитете древних пророков, о которых узнавали из искаженных записей или поддельных преданий жречества. К тому времени все подобные авторитеты, некогда жизнеспособные, стали опорой для дурных, устаревших форм жизни.

И тогда дух человеческий решил усилить индивидуальность всех своих членов, чтобы те усомнились во всех авторитетах. Они должны были яснее осознать свои личности и стать менее покорными группе. И вот он зажег в них новую жажду – жажду полноты индивидуальной жизни. И не в ином мире, а здесь, на земле.

На Западе оживленные им люди видели новыми глазами, слушали новыми ушами и изыскано наслаждались миром. Он вдохнул в них и страсть к исследованию скрытой природы вещей. Под возвратившимся влиянием того древнего народа, чьи пророки более всего дорожили мудростью, люди заново присягали здравому рассудку и желали искренности в каждой мысли. Дух, распевавший их таким образом, намеревался указать им и новый путь, подобный дороге любви, оказавшейся для людей слишком трудной. Этот путь, если бы верно ему следовать, выводил из темницы самолюбия и открывал взгляд на новые цели, на воплощение человечества в мудрости, любви и творчестве.

Дух верил, что мало-помалу новое учение сорвет с их умов ребяческие трусливые фантазии о личном бессмертии, так долго принуждавшие их к бесконечным попыткам через веру, обряд или ханжескую благотворительность обеспечить счастье после смерти для своего драгоценного индивидуального духа. Он надеялся, что они наконец-то признают свою малость и, сбросив сон о бессмертии, лишившись «души», найдут единственное истинное спасение в радостной совместной жизни со своими ближними. Тогда они, наконец, научатся отдаваться безраздельно, подобно ему, духу человеческого, ради полного своего воплощения. Он надеялся и на большее: что утрата иллюзий освободит их еще в одном. Ведь эти фантазии о будущей жизни были опиумом, которым правители опаивали простой народ всех стран, суля им счастье в будущем за покорность церкви и государству и проклятие – за бунт. Лишившись наркотика, они, конечно, не стали бы больше мириться с тиранией.

Духу человеческому казалось также, что огромные силы, которые обещала его членам наука – эта новая магия – позволит наконец правителям освободить поработанные массы от принудительного труда. Не будет нужды, – говорил себе дух, – в том, чтобы многие голодали, страдали от болезней и невежества, почти утрачивали человеческий облик ради возможности дать немногим праздность и средства, необходимые для великого приключения

человека. Несомненно, мудрым использованием нового волшебства человечество скоро излечится от голода, болезней, невежества и всяких природных бедствий, мешавших до тех пор человеку быть в полной мере человеком.

Так он рассчитывал, но действительность разительно отличалась от его ожиданий.

Правда, в иных областях, где сильнее всего ощущалось его недавнее влияние, самые умные или наименее поработанные древними фантазиями и жаждой власти в самом деле исполняли его замысел. В новом порыве они принялись исследовать тайны природы, движение планет, звезд и падающего камня, влияние веществ друг на друга, работу человеческого тела и тайны его отношений с разумом. Некоторым тело представлялось машиной, которой управляет душа; а позднее – самоуправляющейся машиной, для которой мысль – только результат ее работы. Душой все больше и больше пренебрегали, объявляя ее излишней гипотезой.

Этот развод материи и разума удивил и немало позабавил дух человеческий; но в общем он был удовлетворен, потому что, теперь, разумеется, избавившись от грез о бессмертии, они должны были меньше отвлекаться от настоящей цели.

Но все пошло иначе. Вся их мораль покоилась на ложном основании будущей награды или наказания, на перспективе вечного блаженства или вечно-го проклятия. И, лишившись веры в бессмертие,

они уже несклонны были отягощать себя добродетелями. Медленно, но верно ржавели и распадались узы, связывавшие людей взаимной ответственностью.

Был, впрочем, один, опьяненный Богом, как опьянялись им древние пророки, но он вел к Богу путем разума, и в его жизни и учении, пусть искаженно, но проявлялось вдохновение духа человеческого. Он учил, что единственная реальность – цельное Я, в единении духа и материи. А целым для него был Бог. Малые человеческие создания виделись ему фантомами, фрагментами нераздельной реальности Целого. Источник персональной воли, объявлял он, в слепоте к Целому, к его невыразимой красоте. Сам он был одержим страстной самозабвенной праведностью в поклонении Целому, и проповедовал своим смущенным ближним, что искать спасения надо, возвышаясь над индивидуальностью и постигая божественную любовь.

Дух человеческий был доволен этим пророком-философом. Конечно, люди теперь увидят, что не только принятое и многократно преданное ими Евангелие Любви, но и чистый разум требует от них подняться над мелочным эгоизмом и жить в высшем единстве.

Убеждению поддались очень немногие из его членов. Триумф разума повернул людей в иную, чем ожидал дух, сторону. Новая магия физической науки открылась им через анализ частей целого, и че-

рез изучение их поведения. Вот и теперь те немногие, кого интересовали эти тайны, надеялись понять и перестроить человеческую природу, как они понимали и перестраивали материю. Они взялись анализировать человека. При этом они полагали, что человек – это механизм, наделенный желаниями, антипатиями и рассчитывающий свою выгоду на основании действия все тех же мельчайших частиц материи. Вся любовь, утверждали они – это по сути телесная тяга, а идеалы – самообман. Добро и зло были для них фантазиями. Единственным разумным поведением считалось расчетливое удовлетворение возникающих у человека желаний. Немногие из малых человеческих созданий искренне руководствовались этим принципом, но власть его понемногу возрастала.

## Современная эпоха

Между тем человек всерьез начал применять новую магию для изменения условий своей жизни – но иным образом, нежели рассчитывал дух человеческий. Редкие первопроходцы действительно вдохновлялись его мечтами. В простой надежде улучшить жизнь они изобретали бесчисленные устройства, способные лучше одевать людей, строить для них лучшие жилища, сытнее питать, одолевая болезни, облегчать тяжелый труд. Они черпали силу из запасенной энергии первобытных лесов. Они

обуздали пар, чтобы передать его силу машинам. Из странных маленьких чудес, которые находили древние в силе янтаря, они выработали могучую магию для телеграфа, телефона, радио и тысяч электрических устройств. Новые быстроходные средства сообщения связали все края земли воедино, так что судьбы людей в одном краю как никогда влияли на население других стран.

Поначалу материальный прогресс восхищал дух человеческий.

– Скоро, скоро, – восклицал он, – мое насытившееся тело исцелится. Научившись понимать друг друга, люди всего мира осознают свое родство; товарищество и взаимопонимание объединит соперничающие классы.

Но очень скоро стало ясно, что этого не будет. Наука первой применялась в тех удачливых странах, где впервые возникла. И контролировала ее не воля целого человечества, а ищущие выгоды индивидуумы. Так вышло, что ради питания машин и накопления прибыли мужчин и женщин, да и детей, вынуждали жить подобно скоту, притом скоту у небрежного хозяина. Вся их жизнь была занята трудом, голодом и страхом перед хозяевами, да грязными клочками скудной любви, какие им удавалось урвать. Их тела и мозг, при рождении вполне человеческие, в дурных условиях становились почти звериными. Между тем ремесленники, наследники старинного мастерства, вытеснялись машинами и

вынуждены были выбирать между смертельным голодом или убийственно-монотонным трудом. Вознесение стран-первопроходцев не наполнило, как мечталось духу, жизни людей. Напротив, с распространением новой магии тела и умы работников деградировали, а немногие счастливчики обладали властью и роскошью, каких не знали короли.

Дух человек наблюдал, как губительное влияние новой магии распространяется по всей земле. Мало-помалу дешевые и однообразные продукты развозились по всем странам, и страны, одна за другой, превращались в мастерские по изготовлению этих продуктов. Повсюду как снег по весне, таял традиционный образ жизни, отступая к вершинам гор. Старые традиции теряли власть над умами. Престиж богатства и личной власти, скорость, механизмы и роскошь, созданная механизмами, вытесняли прежние ценности.

А фабрики в разных частях мира состязались друг с другом. А люди, живя в бедности, имели мало денег на покупки, так что товаров производилось больше, чем покупалось. Прибыль падала, заводы закрывались, рабочих сбрасывали в окончательную нищету. И оттого покупалось еще меньше товаров, и безумный новый мир новой магии закручивался в круги и спирали, как волчок на исходе энергии.

Казалось, остался всего один способ подстегнуть этот волчок. Государства, уже теперь отчаянно конкурировавшие за рынки и торговые империи,

должны дать владыкам индустрии денег на еще более тяжелое вооружение. Тогда заводы снова откроются, и рабочие снова станут платить налоги. Так и было сделано. Духу человеческому скоро стало ясно, что для завистливых государств, живущих в вечном страхе перед оружием соседа, хватит одной искры, чтобы взорвать губительную войну. И тогда его множественное тело будет мучительно истерзано, а сам он, неизменно светлый дух, живущий в каждом из людей, может кануть в безумие или вовсе погибнуть.

В который раз его планы были опрокинуты – то ли некой внутренней слабостью малых клеток его плоти, то ли чуждой силой, которая сеяла яд и заразу еще в далекие времена его детства.

Дух уже не надеялся достичь успеха простым пробуждением своих членов, какого можно достичь, явственнее открываясь в них. Пусть даже некоторые отзовутся, но вся их масса была слишком глубоко поражена заразой героической любви, героического рассудка и героических добродетелей.

Слабея под ядовитым влиянием этих болезней, и побуждаемый к отчаянной деятельности страхом перед еще более жестокими болезнями, дух человеческий пристально искал средства к спасению.

Было ясно, что болезнь, вопреки всем его усилиям, поддерживается отравленными, изуродованными традициями и общественным устройством, сбивающим людей с пути, калечащим их души. Но как



побудить свои члены изменить весь облик общества, если их умам уже не хватает бодрости на деятельность ради добродетели? В тревожном споре с самим собой он задумался: если ни любовь, ни разум не побудят людей уничтожить сосущего из них кровь вампира, разъедающий единую плоть рак, то, быть может, помогут ненависть и холодный расчет?

### Рассвет новой веры

Дух человеческий решил расшевелить в умах угнетенных ненависть к деньгам, к связавшей их власти. Избрал он и пророков-предтеч, которые разоблачали безумие, измеряющее ценность человека в деньгах, допускающее, чтобы слепое движение денег определяло человеческую судьбу. Затем он склонил их к пророку нового рода: говорящему языком науки, рассматривающего поведение массы людей как поведение простого экономического животного, скрывающего свою ненависть к угнетателям под маской научной объективности. Вдохновленный духом человеческим и, подобно всем пророкам, смущаемый собственными предрассудками и собственной судьбой, новый пророк проповедовал собственный путь истин и заблуждений. Он утверждал, что вся жизнь человечества – предсказуемый ряд причин и следствий, что вознесение и падение народов и классов, вспышки войн и революций, смена идеалов и религий определяются суммой



влияний экономических факторов и экономической среды. Больше того, он заявил, что вся история — это история борьбы классов за власть; что господствующий ныне класс уже исполнил свое назначение как первопроходец эры машин, и что тип экономического производства, поддерживаемый этим классом, стал неадекватным и уже распадается; что обстоятельства вынудят людей установить плановое производство под контролем рабочих; и что издавна угнетавшиеся рабочие должны теперь разбить свои цепи, свергнуть господ и установить новый мировой порядок, в котором благосостояние человека будет определяться единым планом.

Пока дух человеческий наблюдал за медлительным распространением этого нового Евангелия, человечество охватила неизбежная война. Под тяжестью этой войны старый порядок так пошатнулся, что в одной огромной стране мира вовсе рухнул. Поднялся другой пророк, последователь новой веры, способный к решительному действию и движимый (как чудилось поначалу духу человеческому) праведной ненавистью к властям, убившим его брата и угнетавшим весь народ. Последователи пророка, немногочисленные и связанные строгой самодисциплиной, давали народу возвышенный пример самоотречения и добились его верности. Шторм снес в этой стране старый порядок, основанный на деньгах, и основал новый порядок.

С безумной надеждой и с опасением наблюдал дух человеческий родовые схватки этого нового общества. За всю его жизнь подобного еще не случилось. Никогда еще не бывало, чтобы великая идея не просто завоевала сердца, но и успешно воплотилась в новое общественное устройство на половине континента. Не станет ли это великое событие первым шагом к исцелению его тела? Пророк-государственник и его последователи отстаивали новое общество с самозабвенной яростью. Они не стеснялись уничтожить многие тысячи человеческих существ, враждебных революции. Мало-помалу заботливо посаженные ими семена пустили надежные корни. Новое государство набирало силу.

Дух человеческий, памятуя неудачу прежнего пророка любви, теперь смеялся над своим юношеским простодушием.

– Моя болезнь, – рассуждал он, – зашла слишком далеко, чтобы излечить ее великодушными словами и нежными чувствами, и даже мученичеством великого пророка. Не медлительное распространение любви от сердца к сердцу излечит отравленные связи между людьми, но только великий взрыв насилия в научно обоснованной и подготовленной революции. Только нож хирурга способен меня спасти.

Но уже при этих словах его охватил холод. Ведь природой его, что ни говори, была любовь, а не ненависть. И не беспощадная дисциплина, а только

радостное, свободное самовыражение всех членов могло дать ему процветание.

Он глубже задумался над великим событием, глубже взгляделся в сердца пророка и его последователей. Теперь он распознал, что истинным мотивом революции и обороны нового государства была не просто ненависть к угнетателям, а еще и новая страсть к товариществу угнетенных; те ради товарищей-рабочих, ради их жен и мужей, детей и любимых отдавали себя общему делу. Сам пророк-государственник, хоть и ужаленный ненавистью, вдохновлялся прежде всего любовью: любовью к убитому брату и к угнетенным рабочим. Вся громада революции, выглядевшая на первый взгляд проявлением чистой ненависти, была по сути мощным движением оскорбленной любви, и достойна была любви того великого пророка, который в давние времена умер ради спасения людей.

Очень странным показалось это духу Человеческому.

— Отчаявшись в любви, — рассуждал он, — я решил побуждать свои члены примитивной яростью и ненавистью, но в конечном счете ими движет любовь, и она подстегивает в них ненависть.

Но стоило ему задуматься о расстрелянных мятежниках и инакомыслящих, об изгнанниках и замученных рабским трудом противниках, о том, как затыкали рты критикам и запугивали свидетелей, как вынуждали людей к самооговорам и как на-

сильно внедряли в умы юных верность новому писанию, как холодок сомнения вернулся. Дух напоминал себе, что, не будь революционеры столь беспощадны в защите нового государства, оно бы наверняка погибло, и что основание этой новой человеческой общности – самый яркий светоч надежды во всем современном мире. Но вспоминал он и о том, что каждый его член, даже мельчайший и уродливый – тем не менее, личность, и что даже защитники революции обязаны обращаться с врагами революции как с личностями, а не как с обычными паразитами.

Тем временем поклонники денег и их последователи по всему миру всеми силами стремились уничтожить революционное государство. И многие, искреннее верующие в евангелие любви, разгневавшись на революционное насилие, поддерживали деньгами врагов нового порядка.

В самом разоренном из денежных государств в умах людей зародилось новое настроение – слепая ярость к губительной власти денег и к лживости торговцев. Дух человеческий видел, что сам он отчасти повинен в этой слепой ярости, ведь он сам сделал все, чтобы разъярить людей против старого порядка. Однако он не предвидел, к чему приведет их слепая ярость.

## Кризис болезни

Ложный пророк, порожденный общим отчаянием, но готовый использовать силы старого порядка ради собственных честолюбивых целей, приобрел власть над великим и отчаявшимся народом. В нем истинный огонь духа смешался с жаром личных обид на презревшее его общество. Он горячо ощущал, что отдельные мужчины и женщины должны стать орудием чего-то большего и более глубокого, чем они сами, но его оскудевшее, покореженное сердце постигало все лишь в понятиях собственной извращенной природы. И такая извращенная истина оказалась тем самым евангелием, которого жаждал измученный народ. Они были разбиты в войне – он обещал им завоевание мира. Они глубоко сомневались в себе – он сказал им, что они по рождению принадлежат к высшей расе, расе господ. Они жестоко страдали от банкротства своего, построенного на деньгах, общества – он разбил чары денег и обещал им надежность, процветание, изобилие. Они были парализованы безработицей – он заставил промышленность заработать, направив ее на изготовление оружия. Они были бесплодны, утратив идеалы – он дал им, что любить и за что умирать: мистическую расовую теорию, объединившую всех людей истиной крови. Они были истощены многолетними поисками себя – он приказал им забыть о себе и объединиться в мыслях, чувствах и поступках,

установленных для них расой, глашатаем которой объявил себя. Они научились презирать культ холодной логики – он призвал их мыслить кровью. Их ожесточило зрелище бессильной религии любви – он проповедовал не любовь, но ненависть; не мягкость, но мощь и жестокость.

Дух человеческий видел, как этот великий народ в отчаянии цепляется за призраки, пробужденные лжепророком им на погибель. Он видел, как молодые люди, мужчины и женщины, опьяняются этим диким евангелием – и тем, что было в нем истинно, и тем, что ложно. Он присутствовал в каждой юной душе, которая по доброй воле вырывала из себя природные цветы личности, чтобы жить согласно безумным предписанием ложной веры ложного пророка. Он смотрел, как тысячные колонны в одинаковой форме маршируют под пламенеющими знаменами; как детей издевками приучают к жестокости, как готовят их пытать людей, поощряя мучить собак и кошек. Он ощущал, как драгоценные клетки его тела – нет, много больше, чем просто клетки, ведь каждая была личностью – разлагаются ядом. Так что целое поколение становилось опухолью на его теле, и только смерть поколения могла удалить эту опухоль.

Яд действовал не только на этот великий народ, но и на другие. Он проявлял себя в каждой стране мира – здесь, как неявное, но хроническое заболевание, там – угрожая гибелью. С горечью и отчая-



нием дух человеческий различал даже в новорожденном народе, где победившие революционеры основали новый порядок, подспудную работу яда, хоть и сдержанную влиянием нового общества.

Наконец лжепророк, полностью вооружив свой народ, всей силой нанес удар. Ему помогали могучие союзники из тех народов, где еще правили деньги, а обескураженные последователи истинного духа были парализованы прошлыми неудачами. И снова весь род человеческий забился в судорогах. В первые мгновенья духу показалось, что этот припадок смертелен, что он, еще юный, хоть и проживший миллион лет, будет уничтожен. Его плоть, человечество, конечно, восстановится и после великой войны, но его, дух человеческий, вполне возможно убить. И тогда его животное тело, не управляемое больше разумной и любящей душой, продолжит механическое существование, пока и его не погубит следующая, еще более безумная война.

### **Третья интерлюдия Окна**

Иные души лучше познаются через лбы и губы, лепку носа и посадку головы, через пропорции рук, через повадку и ритм всего тела. Но ты всегда стоишь у открытых окон своих глаз, глядя на запруженную людьми улицу и на мир. Внимательная и самозабвенная, ты не подглядываешь из-за занавес-

ки: ты открыто склоняешься на подоконник, так что все могут увидеть тебя в солнечном свете (или это светишься ты сама?). Ты видна каждому прохожему, но тот, кто наблюдал тебя десятилетиями, видит лучше других.

А глаза? Как могут эти шарики хрящевой ткани, эти линзы фотоаппарата, рассказать о душе? Они созданы не для общения, а лишь для зрения. Наши предки-животные высматривали зацеп на деревьях, судили о спелости золотистого плода, ловили уголком глаза предательское движение в высокой траве, рассчитывали прыжок. А еще много раньше, задолго до того, как в сознание проник цвет, до того, как стали различимы формы, низшие создания напирывали путь, руководствуясь лишь пузырьками мембраны или светочувствительной кожей. А еще раньше вовсе безглазые смутно ощущали контраст света и тени на поверхности своего тела.

Твои глаза, эти соразмерные окна, сквозь которые смотрит и открывается взгляду внутренняя красота – цветы этой долгой истории. Но как много в них сверх того! Как коготки ящерицы породили обезьянью лапу, а за ней искусное орудие, которым человек работает и жестикулирует, так и глаза обрели новые силы. На протяжении многих человеческих поколений они видели красоту и выражали душу. Широко открытые от любопытства, полуприкрытые в скуке или презрении, распахнутые в ненависти или горе, прищуренные, чтобы обозреть

далекие горизонты, с морщинками в уголках от частых улыбок, стреляющие по сторонам от хитрости или в застенчивом кокетстве, затуманенные или сияющие в любви, глаза медленно, мало-помалу, на протяжении человеческой жизни создают собственную речь язык.

Какое же чудо в том, что иные ясные души вернее всего открывают себя на нечаянном языке глаз!

# **Глава 4**

## **Дух человеческий размышляет над своими несчастьями**

*Дух человеческий и Дух – Темный чужак – Снова  
кормовой стрелок – Ущербная куколка – Конец  
войне*

### **Дух человеческий и дух**

Одолеваемый бедствиями войны и социальных катастроф в своей множественной плоти, бессильный восстановить здоровье, дух человеческий ослабел от отчаяния. Его воля к жизни, к полнейшему выражению своей натуры гасла от усталости. Его искушала воля к смерти. К чему продолжать борьбу, зачем его манит недостижимая цель? Почему бы не погрузиться в тихое ничто? Его плоть слишком бrenна и в то же время слишком непокорна. Он не в силах ни укрепить ее для служения духу, ни совладать с ее похотью. Гомо сапиенс представлялся ему дурно сконструированным созданием, жалким птеродактилем духа, а не истинной птицей, идеально

приспособленной к полету. Птеродактиль? Скорее заблудший мотылек, обреченный тщетно биться в окна своей тюрьмы, пока смерть не покончит с его тревогами.

Так зачем же продолжать эти мучительные усилия? Какая нужда, какой долг гонит его? Он не чувствовал в себе никаких потребностей, кроме нужды в покое, во сне, в смерти.

Но в смятении своем он обнаружил, что ни изнеможение, ни разочарование не позволяют ему сдаться. Для него все яснее открывалось, что он, дух человеческий, неким тайным образом в залоге у великого, вселенского Духа, который и есть его настоящая суть и который чище, чем когда-нибудь суждено стать ему. И потому он должен, должен учиться, должен стать верным орудием того большего, в котором одновременно все неисполненные обещания его собственной природы и (возможно ли это?) бесконечность, создавшая его путем ограничения себя и поддерживающая его на всем пути его существования. Ему, источнику и цели, дух человеческий должен хранить верность. Должен? Почему должен? Он не знал. Но был уверен, что должен.

В поисках новой силы дух человеческий вновь устремил взгляд за пределы своей планеты, к звездам. К этим великим огням, к этим искоркам, рожденным, быть может, огромным, тайным пламенем. В последнее время они стали для него символом, непрерывно напоминающим о его малости и тре-

вожащим смутными намеками на будущее величие. И теперь ему довелось заново поразмыслить о них.

В этот период человеческого кризиса астрономы, глазами которых он изучал небо, были в большинстве оторваны от своих настоящих дел ради военных нужд. Но несколько еще остались, и через их посредство он проникся новым удивлением, новым стремлением увидеть в знакомых звездных полях не просто данные для анализа, а загадочные черты небесной реальности; так что через их телескопы и через их умы он размышлял над звездами и пытался распознать свои истинные отношения с ними. Со своей песчинки с горячим ядрышком и тонкой пленкой зелени и океанов, он озирает глубочайший небесный океан. Вот кружится луна, преждевременно состарившаяся и не успевшая зачать жизни; а вот солнце, отец всего, растущего на земле, мать жизни. Солнце, древнее божество, оказалось в конечном счете не более как огромным пламенем, вполне заурядной, пожалуй что пожилой звездой – а вовсе не неисчерпаемым источником жизненной силы. К тому же оно могло в любую минуту взорваться и поглотить свой выводок миров. Дух человек пристально рассматривал эти миры, но мало что видел. Если однажды он сумеет освободить человеческий разум, что тот найдет вдали? Быть может, другие плодородные шары, где обитают подобные ему духи со многосоставной плотью? Или пустые миры оплавленного солнцем камня и вечного льда? Или враж-

дебные пустыни и бескрайние океаны, лишенные живого духа?

Раздраженный своим невежеством, он заглянул за крайнюю планету, коснулся созвездий. В поле зрения человеческих телескопов проколота булавоочными отверстиями темнота превращалась в черноту, присыпанную алмазной пылью, а здесь и там сверкали большие бриллианты или иные самоцветы. Но все они были звездами, солнцами. Неподвижные, прикованные к небу и инертные на вид, хотя он отлично знал, как летают и странствуют эскадроны этих великих солнц. А все они вместе (как он прекрасно знал) складывались в огромный вихрь искорок – каждая одинока, как пленник в камере, отделена от соседей самым расстоянием. Впрочем, он напомнил себе, что и вся галактика, если бы он взглянул на нее со стороны, оказалась бы единым организмом, составленным из движущихся клеток, свободных, но послушных природе целого. Много таких организмов, таких галактик, видел он вдали через инструменты астрономов. И знал, что полчища других движутся за пределами человеческого зрения, как чайки, парящие за горизонтом или кружащие над океаном антиподов. Дух человеческий, казалось, почти постиг во всей физической вселенной единый организм, членами которого служили галактики.

Но тогда? Тогда? Мысль уступила чистому удивлению. Тогда он, великий дух человеческий, не бо-

лее, чем кровавой шарик или малый атом вселенского организма? Или, быть может, живой зародыш целого космического яйца? Что, если все прочее – безжизненный желток, ожидающий его волшебного пробуждения?

На миг его захлестнула гордыня, но дух тотчас вспомнил, что, даже будь оно так, даже окажись он единственным живым зародышем в целом космосе, ни один зародыш не способен в одиночку породить птенца, а тем более вырастить из него орла. Только согласный ход событий ведет к этой цели. Для создания орла в самом деле необходим зародыш, но также и желток, и материнская забота, и добыча, и поддерживающий слетка воздух, и все прошлое, все предки вплоть до первой жизни в древнем океане, и рождение планеты и породившая ее туманность и непостижимый акт творения, породивший все это.

Не так уж велика искорка творения в зародыше! А он, полупросветленный дух правящего на Земле рода, даже осмелившись на миг вообразить себя зародышем космического яйца, должен, конечно, ощутить не гордыню, но смирение и ужас, ведь ошибочно распорядившись своей искрой, он оборвет развитие целого космоса и тем предаст Дух.

А если он, в конечном счете – один из великого множества духов, рассеянный по космосу? Эта мысль взволновала его сильнее. В нем шевельнулась тоска по товариществу себе подобных. Если бы ему объединиться с другими такими же, преодолев



световые годы и парсеки расстояния! Конечно, это было невозможно. Каждый мировой дух должен хранить верность собственному видению Духа, в полной оторванности от собратьев.

Дух! По крайней мере, он мог всей волей утвердить непоколебимую верность чему-то иному, нежели он сам – чему-то, быть может смутно проглядывающему из-за галактик, но для него несомненно присущему, как собственная суть, только бесконечно величественнее. Сам по себе этот Дух был волей к познанию, любви, созиданию. А вне его, быть может, присутствовала еще большая воля к осуществлению всего космоса в мудрости, любви и творчестве.

### Темный чужак

В дни младенчества духа человеческого его пробуждающиеся члены поклонялись богам собственного изобретения – существам, для него неправдоподобным, потому что они отражали только природу отдельных членов, а не целостную его природу. Однако позднее некоторые, хоть и остались во власти космогонических мифов, обрели в сердцах верность Духу и дошли мыслью до нового божества – которое и было им самим, истинным духом человеческим.

Дух рассудил, что по-своему они были правы, ведь он и в самом деле был страстью к разуму, люб-

ви и творчеству, тлевшей, пусть очень глубоко, в каждом человеческом сердце.

Но сейчас дух человеческий начал понимать, что эта зарождающаяся религия его членов была лишь полуправдой и несла в себе многие опасности. Потому что если он, дух человеческий, в чем-то достоин поклонения, то не за то, что он человек, а за то, что дух – за то, что его суть, как и суть его малых членов, в разуме, любви и творческой воле. Те, кто почитали его, были воистину верны Духу в своей верности разуму, любви и творческой воле; но обращая их верность на себя, на несовершенный дух их рода, он искажал их верность вселенскому Духу, а тем самым и себе, и их истиной природе.

Дух человеческий невольно тянулся к божеству за пределами его самого, к вселенскому Духу, в котором был его суть, но бесконечно увеличенная. А еще он в мучительном замешательстве распознал в себе темную тягу к чему-то вне этого всеобщего и светлого Духа разума, любви и творчества – тягу к неведомому чужаку, непостижимому и ужасному, но неким ужасным образом и прекрасному. Великий дух человеческий, так медленно и мучительно пробуждавшийся на протяжении веков, наконец слепо ощутил присутствие Другого, лишённого всех вымышленных для него человеком образов-одеяний. Постигнув для начала, чем не был это Другой, дух человеческий начал ощущать и то, чем он был, хотя

ничего еще не знал о его истинной природе, кроме его ужасающей чуждости.

Тот не был ни Ра, ни Шивой, ни Хроносом, ни Ягхве, ни Иисусом. Пока еще нельзя было (эта мысль ошеломила его едва ли не до головокружения) сказать наверное, был ли этот темный Другой равен Духу, был ли он идеалом разума, любви и творческой воли. Чужак, возможно был выше всего того, к чему стремились как к святыне дух человеческий и иные духи всех рангов.

Подумав об этом, дух человеческий, забыв о муках телесных терзаний, вскричал, обращаясь к Другому: – «О, Ты, Ты, Ты!» – и онемел. В сердце его зародился шепот: «Могу ли я, малое и низкое создание, обращаться к нему? Как мне дотянуться до него? Звезды и галактики являют его, атомы и электроны – его проявления. Каждая букашка, каждая ласточка, каждый полевой цветок свидетельствуют о нем. Люди во всех своих поступках, добрых и злых, неотвратимо выражают его. И я, хоть и предан всем существом светлому Духу, невольно приветствую и его, Другого. Хотя мне суждено вечно сомневаться, действительно ли эти двое различны, или они – одно. Дух я смиренно познавал, но что есть Ты? Слепящая тьма в глазах. Оглушительное молчание!».



## Снова кормовой стрелок

Убедившись в своем бессилии постичь Другого, дух человеческий снова обратился к размышлениям о Духе – божестве более привычном и более познаваемом; божестве, которому он твердо и безошибочно присягнул на верность.

Однако можно ли назвать божеством то, что, возможно, не обладает персональным сознанием вне его сознания, но является чистым идеалом, претендующим на его верность – быть может, неоправданно? Что, если этот идеал внедрен в него Другим, чтобы стать законом его существования, возможно, вовсе не обязательным для Другого? Этого дух знать не мог. Зато он без тени сомнения знал, что для него и для всех его малых членов путь Духа – это путь жизни. Все существа во всем множестве галактик, обладающие хотя бы частицей собственного света, по самой своей природе должны быть верны Духу – или они изменили бы свету, сияющему внутри них. Для всех путь жизни – это путь чуткого разума, любви и творчества. Хотя образ этих трех может странным образом изменяться и противоречить друг другу. Низшим существам самые яркие проявления духа могут представляться выжженной пустыней. Дух человеческий, вспоминая долгие блуждания своего роста, видел, как много обличий при-

нимал для него Дух, впервые смутно угаданный во времена отца Адама.

В тот первый миг его жизни между ним и личностью его единственного члена не было разницы. Но теперь, когда его члены так умножились в числе, между ним самим и каждым из них лежал широкий водораздел. Они стали так многообразны! Даже в выражении Духа они вечно конфликтовали; ведь каждый был обуян одним из проявлений Духа, одним направлением или способом познания, любви или творчества. Дух же, включавший в себя все их разнообразие, в равной степени разделял все их противоречивые достижения. Он был един во всех. Более того: члены его были так эфемерны, а он – вечен. Они так привязаны к краткому цветению своего индивидуального я, он же так далек от этих уз.

И потому духу трудно было сознавать крошечные, но яркие и плотные жизни своих членов. Ему грозило забыть о них, как человек забывает о клетках своего мозга. А ведь они были личностями и основой его собственной личности, так что, утратив связь с ними, он потерял бы связь с собой и умер бы – и предал бы Дух. Более всего духу человеческому следовало остерегаться этой угрозы именно теперь. Ведь в последнее время его заботили великие мировые тенденции, и планируя, направляя отношения между народами и классами, он, истинный дух че-

ловеческий, все больше забывал об отдельных личностях мужчин и женщин.

Сейчас дух человеческий с искренней симпатией и даже с благоговением воскрешал малые жизни тех или иных из мириад своих членов – живущих или умерших – или задерживался на переломных моментах их жизней. Среди других он выбрал кормового стрелка из самолета с мотыльком. С новым удивлением и смирением он продумывал мысли молодого человека, летящего над проливом. Он погружался в темное смятение разума кормового стрелка, как ныряют в бурный и мутный поток. Он чувствовал, как его влекут и толкают бессознательные побуждения, давно забытые детские страхи и желания. Невежество и лживые доводы искушали его множеством безумств и манили пустыми целями. В приступе жалости он пережил неуверенную верность юноши Духу, которого тот постигал лишь смутно. То было стремление, безнадежно уведенное в сторону модной позой циника. Глазами кормового стрелка он видел в Духе не ясную волю к любви, разуму и созиданию, а смутный бесформенный огонек, пробившийся сквозь толщу нечистой воды. Странно, как столь темное создание, преодолев терзания сумбурной натуры и оковы общественного мнения, столь безошибочно сумело отдать свою драгоценную жизнь столь смутному и темному видению Духа. Стрелок наравне с мотыльком был заперт в огромной машине, не будучи ее частью, но, в

отличие от мотылька, он обуздал себя отвагой и товариществом, отдавшись тем самым Духу – хотя и застенчиво, почти неосознанно.

Мог ли сам великий дух человеческий сделать более? В более широких пределах собственного невежества и бренности, он сам иной раз отклонялся от истинного служения Духу. Да и чем он был, как не духовным единством всех своих членов? Он был больше каждого, потому что был лучшим в каждом и во всех, объединенных таинственной телепатией. И все же он сомневался. Не был ли он скорее одним, чем многими? В таком случае, его члены – просто измышления его единого и единственного существа? Неужели они в действительности не настоящие индивидуальные души, а лишь его собственные переживания, воспринятые со множества различных точек зрения? О, нет! Кормовой стрелок, будучи меньше сознания всего человечества, одурманенный огромным невежеством и окутанный слабостями всего общества, наверняка был чем-то более вещественным, чем мимолетная мысль духа. Его нельзя было помыслить иначе, как недолговечного индивидуума – и притом отважного индивидуума, способного на подвиг, какого никогда не потребуются от великого духа человеческого. Ведь духу человеческому никогда не придется умереть ради верности большему Духу, поскольку он сам – единственный известный сосуд для этого Духа. Мать, носящая в своем теле ребенка, сражаясь за свою жизнь, сра-



жается и за него; так и дух человеческий, сражаясь за великого Духа, которого он один мог породить, сражался в то же время за свою жизнь. А кормовой стрелок отдал жизнь, чтобы могло жить нечто иное, чем он сам. И погибшая святая того города жила ради служения другим, куда меньше нее достойным восхищения. Преклоняясь перед духом, она ради Духа безропотно отдала себя.

### **Ущербная куколка**

И снова дух человеческий обратился мыслями к бедам своего множественного тела. Он уже не сомневался, что все его органы и ткани сейчас распадаются. Все его вещество обращалось в жидкость, готовясь к странному преображению. Его облик менялся подобно облаку. Ради чего?

И снова, как нередко бывало в прошлом, он серьезно вопрошал, станет ли эта ужасная трансмутация последним и смертельным пароксизмом разъедающей его болезни, проникшей в тело в далеком детстве, или же славным, хотя и мучительным, возрождением. О, пусть это будет возрождение, это должно быть возрождение! До сих пор он нечувствительно рос, как растет гусеница, теперь же все его существо распадалось для смерти или более полной жизни, чтобы стать настоящей бабочкой или простым и ужасным паразитом. Возможно, умирающее примитивное создание – не более чем бесфрмен-

ный комок клеток, обычный полип, губка или смешение отдельных неупорядоченных индивидов, лишь ради узких и временных целей объединенных в семейства, племена, нации, мистические секты и социальные классы.

Вся жизнь человеческого рода определялась лишь слепыми силами, воздействующими на малых созданий роя и направляющими их к бесконечному поиску себя. Но теперь духу представилось, что он, дух человеческий, сумеет наконец-то совладать со своей плотью и стать правителем – направляющим разумом всего человечества. И тогда, умудренный всеми ошибками прошлого, он вдохновит свои члены на свободный совместный труд, чтобы обратить землю в рай, где поколения людей будут радостно воплощать свои природные силы, служа великолепными орудиями Духа.

Близился конец войны, и дух человеческий видел, что спасти его может лишь новое, более ясное стремление к Духу, если такое распространится среди людей. Необходимо уничтожить империи, разрастающиеся в его теле подобно раку – без этого невозможно телесное здоровье, и разум его погаснет. Но для такой отчаянной хирургической операции требовалось больше, куда больше. Ведь яд уже разошелся по жилам к каждому органу его тела.

И вот, в самый год военной победы, дух человеческий невольно усомнился, обладают ли победители, эти преданные воители Духа, ясным пониманием:

что им делать со своей победой. Казалось, их заботила одна только власть – и такая организация мира, которая даст им еще больше власти. Некоторые желали всего лишь восстановить старую, рыхлую как губка структуру, при которой они еще недавно процветали. Другие задумали тесно переплетенный мировой организм, в котором мужчин и женщин удерживали бы вместе стальные узы – не товарищества, а законов – мир, в котором Дух был бы так же скован, как в старых злокачественных империях.

Теперь и сам дух человеческий засомневался, что же именно нужно ему от своих членов. В прошлом было ясно, что каждый должен усмирить и превзойти свою дикую личность, подчинить себя общей цели, чтобы старые непрочные связи в его плоти, распавшись, переплелись в более надежную структуру. Но едва эта цель показалась на горизонте, едва победители вообразили себя правителями мира, как сами они стали орудиями новой угрозы. Едва они постигли необходимость дисциплины и мирового плана, как стали забывать об их назначении. О нем забыли многие, но не все. Святая, убитая в городе, и тысячи других скромных мужчин и женщин, разбросанных по всему миру, помнили.

Пока дух человеческий всматривался в свое предназначение, плоть его терзалась мощными конвульсиями войны. Ему приходилось не легче, чем человеку, когда тот в горячечном бреду сознает, что его спасет лишь холодная голова, и великим

усилием заставляет себя обдумывать и точно исполнять лечение.

Воюющие народы теперь напрягали последние силы – одна сторона, чтобы оттянуть гибель, другая – чтобы завоевать скорую и решительную победу. Огромные флотилии несли громадные армии к вражеским берегам. Громадные воздушные флоты уничтожали город за городом. Грохочущие машины и орудия сталкивались на лугах и сожженных нивах, над пожарищами деревень. Отступающий враг взрывался, горел, страдал. Повсюду малые члены его тела принимали дисциплину и опасности, терпели боль, увечья, смерть в простой надежде, что их жертва спасет других и приведет к более счастливому миру. Их хрупкую плоть терзали и калечили бездушные снаряды и дьявольски-изобретательная жестокость собратьев-смертных. Людей подвергали научно-обоснованным пыткам или просто уничтожали тысячами, как уничтожают паразитов – самым дешевым из доступных способов. А другие, свободные граждане и борцы, тонули в море, рушились с неба, гибли под развалинами домов, сгорали, оставляя после себя головешки обутленной плоти и почерневших костей.

Эту телесную агонию претерпевал и сам дух человеческий, ведь их плоть была его плотью. И душевные муки гибели не были чужды ему, ведь он пребывал в каждом из них. Но, при всех этих бедст-

виях и вопреки им, он все яснее различал правду о себе.

– Как удивительна и тонка, – говорил он себе, страдая, – взаимосвязь между этими малыми созданиями и мною. Если они не подчиняются полностью моей воле, меня разрывают внутренние противоречия; однако же если эти клетки моего тела отринуто свою истинную личность и станут простыми клетками, простыми шестеренками, бездуховными частицами, целиком послушными бездушной организации целого, я сам, мое истинное я, кану в ничто. Ведь я существую только как единство духа во всех и каждом из моих членов. Мне осталась одна последняя надежда: что они по собственной, свободной воле, а не по принуждению, подчинят себя общему благу и Духу. Но ведь и этого не достаточно. Обуздывая себя, они должны еще и сохранить бескомпромиссную верность собственной индивидуальности и уникальности.

Дух человеческий видел, что в этом и состоит теперь его дело. Он должен точнее вдохновлять свои члены. Бесполезно было бы пробуждать в них смутную верность Духу. Он должен открыто объявить, чего требует от них Дух в данный момент истории.

И вот он принялся очищать свои мысли и прояснять вдохновение своих членов – прямо здесь, на пороге лихорадки. В то самое время, когда наиболее социально-умудренные люди принялись, наконец, исполнять его прежние предназначения, пропаган-

дировать волю к общественной дисциплине и мировому планированию, ему пришлось отыскать в себе силы, чтобы пробудить в наиболее духовно-чутких новую нежность к индивидууму, к искренним душевным движениям. Многим его членам, как прежде и ему самому, чудилось, что эти направления противоречат друг другу, на деле же они были необходимыми половинами целого.

И потому дух человеческий провозглашал свое новое послание в сердцах истерзанных войной людей всех стран.

– Вспомните великого пророка Любви, – говорил он. – Вы понемногу начали перерастать границы его учения, но одновременно забыли истину. Бесспорно, он внушал вам сомнительные догмы, заявляя, что человек бессмертен и что Бог – его любящий отец – что совершенно непостижимо для человека. Но в то же время он помог иным из вас увидеть, что все люди – части друг друга, и что лишь в деятельной любви к ближнему, к товарищу, спасение человека. А потому будьте нежны – о, всегда нежны к отдельному человеческому существу. Вам придется планировать, потому что ваш мир в беспорядке. Вам придется управлять, в нынешней крайности вам не приходится даже чураться применения бомб, танков и пулеметов, поскольку иные из врагов Духа очень сильны и слишком извращены, чтобы прислушаться к иным средствам убеждения. И порой вы, обладая силой, чувствуете, что не применить ее в полной

мере – предательство. Но пусть ваша твердость пребудет в вечном браке с нежностью. Даже повергнутый, но все еще опасный враг – человек и сломанное орудие Духа. И маленький безымянный человек, работающий на заводе и возвращающийся домой измученным и безрадостным, имеет право на бесконечную нежность даже тогда, когда по глупости или из слепого самолюбия сопротивляется вашим благодетельным планам. И пусть все правители огненными буквами выжгут у себя в памяти, что если их планы не дадут безымянному человеку крылья и свободу их использовать, планы эти напрасны.

Миллионы за миллионами смутно отзывались новому вдохновению. Люди, подавленные большими и малыми, злобными и благонамеренными тираниями, как никогда жаждали свободы. Им смертельно измучила дисциплина, приказы, структуры, номера и правила. Они желали одного – покончить с войной, вернуться к мирной жизни, к хорошей работе, заработать деньги на удовольствия. Те, кто обладал властью денег, еще сильнее мечтали о свободе от тех ограничений, которых требует поиск себя. И эта огромная жажда свободы только здесь и сейчас оборачивалась желанием свободно служить Духу в единстве индивидуальностей, в целом же то было желание наслаждаться жизнью, ни за кого не отвечая.

Большинство людей охотно принимали смутные послания духа. Их ждали и люди доброй воли, и те, кто желали вернуть свои прежние неограниченные вольности. И последние перекраивали новое писание под собственные цели. Тогда верные обществу, требующие плана, осудили новую жажду свободы как уловку врагов общества. Очень немногие принимали ее как завершение их личного евангелия.

И в который раз дух человеческий не сумел вдохновить свои члены — отчасти, быть может, из-за слабости и недомыслия новых пророков, но больше из-за непреодолимого сопротивления тех общественных сил, которые неумолимо перемалывали человечество, выстраивая из него жестокий безжизненный муравейник.

## **Конец войны**

Звонили победные колокола. Трубили трубы и развевались флаги. Войска проходили парадом по всем городам. Толпа ликовала. Люди приветствовали золотое, но призрачное будущее. Прошлое осталось лишь болью в памяти. Никто, кроме калек и сирот, не хотел о нем вспоминать.

Колокола звонили о победе, о мире, о том, что черная полоса жизни миновала, о возвращении на гражданку, о приближении чертовски хороших времен; и о торжестве Духа (так говорили победители) над силами зла, едва не завоевавшими планету.



Но дух человеческий не слишком ликовал – ведь вслед за одной доблестно отраженной угрозой навигалась новая. Один приступ болезни отступил, но болезнь не прошла. Куколка готовилась к великому преображению, но мотылек был еще скован коконом и в каждой клетке его ослабленного лихорадкой тела таился паразит.

Дух человеческий, вопреки надежде, с опасением взирал в будущее.

### **Четвертая интерлюдия** **Время и вечность**

**Сегодня! Завтра!**

Сегодня являет всю нынешнюю вселенную в бесконечных подробностях, в немыслимом изобилии. Сегодня – это поля, дом и огромное небо. Сегодня начинают человека, сегодня он рождается, любит, ненавидит, умирает. Бесчисленные электроны с протонами деловито выполняют повсюду свои невообразимые фокусы. Планеты притягиваются к своим солнцам. Плывут, вращаются галактики.

Сегодняшний день содержит в себе и все прошлое: королеву Викторию, Вавилон, ледниковые периоды, зарождение звезд из первичных туманностей и первый взрыв творения.

А завтра? Там непроглядный туман, из которого может появиться что угодно.

Вспоминая или открывая прошлое, мы сталкиваемся с тем, что существует вечно, хотя бы и в прошедшем времени. Оно такое и никакое иное. Наш взгляд на него может быть ошибочен, но оно само таково, каково есть, хоть и отделено от нас темным занавесом. Ни людские законы, ни сам Всемогуший не в силах сделать прошлое иным, чем оно есть и вечно останется. Сам Бог, существуй он, не очистит меня от поступков, о которых я теперь сожалею.

А будущее? Оно не за туманом, оно – ничто. Оно еще не создано. Мы сами, предпочитая тот путь этому, участвуем в его создании. Хотя мы сами, быть может, лишь проявления живого прошлого, действующего в нас, но мы, такие как есть – творцы будущих событий, которых нет в сегодня. Сегодня будущее – ничто иное, как одна из бесконечного множества возможностей, латентно присутствующих в настоящем. Или, может быть (откуда нам знать?) даже не латентных, а совершенно уникальных и неопределенных.

Вчера осязаемо, оно здесь, за моей спиной, хотя отступает все глубже в прошлое, пока я ухожу вперед через ряд сменяющих друг друга сегодня.

А завтра?

Вчера у меня на завтрак была каша и поджаренный хлеб, как и накануне и за день до того. Вчера я, как мне было указано, сел на поезд в Престон. Я рассчитал, как добраться до станции в нужное время. И, поскольку тысячи других нитей плана со-

шлись без ошибки, машинист, ожидавший свистка и сигнала кондуктора, перевел рычаги. Поезд тронулся. В этом поезде я оказался сидящим напротив милой незнакомки – не по инструкции и не по плану. Мы скоро разговорились, заглядывая друг другу в глаза – не о любви, а о работе сиделки в госпитале, и о желательном планировании общества, и о ее христианском боге, и о будущей жизни, и вечности. До нашей встречи, до того, как столкновение наших умов высекло искру, наш разговор нигде не существовал. Но здесь, в мимолетном настоящем, мы начали его создание. И теперь вселенная навсегда обогатилась, потому что наш разговор теперь содержится в прошлом, в отступающем вчера, со всем его неожиданным и неповторимым теплом и светом.

С ней у меня не было прошлого, кроме вчера, и не было будущего, но с тобой, знакомая и любимая, мои корни глубоко в прошлом, а цветы – в будущем.

Примерно на пятнадцать тысяч вчера назад ушел день, где ты – маленькая девочка с ручками-палочками и водопадом волос. Ты, в зеленом шелковом платице входишь в дверь, греешь руки у огня и поглядываешь на меня. И теперь та минута кажется такой реальной, словно это вчера! Ведь эта частица вечной реальности, как ни странно, всегда доступна мне через пятнадцать тысяч вчера.

А завтра?

Успею ли я завтра, как планирую, на автобус до Честера? Или опоздаю? Или он не возьмет меня,

или вообще не придет? Или, приняв меня, столкнется с катафалком или фургоном зверинца? И не начнут ли вырвавшиеся на свободу тигры и львы охоту на прохожих? Не почувствую ли я огромных когтей в своем теле, не почую ли их дыхания, не пойму ли, что для меня нет больше завтра? Или, может быть, неизвестная болезнь одолеет меня за ночь? Или упадет бомба? Или законы природы вдруг переменятся, так что камни сорвутся с земли, дома обратятся в столбы щебня и пыли, море ринется в небеса. Или само небо распахнется как занавес, открыв Господа на престоле его, и обвиняющий палец укажет прямо на меня? Или в какой-то миг завтрашнего дня все просто закончится? И больше ничего не будет, никакого будущего.

Я не могу с уверенностью ответить на эти вопросы. На них не ответит с уверенностью ни один человек. И все же, если я поставлю миллион фунтов против пенни, что мир будет продолжаться, и полмиллиона фунтов за то, что он не слишком изменится, не многие сочтут это безрассудным риском.

Вчера те события, которые так явны и живы сегодня, были еще непредсказуемы, не predetermined. И потому мы скажем, что вчера они еще не существовали. И все же, все же – бывают минуты, когда мы смутно ощущаем, что как прошлое вечно реально в прошедшем времени, так и будущее уже существует, хотя и отделено от вечно-подвижного настоящего. Мы движемся вперед, туман перед нами отступает,

открывая вселенную, продолжающую нынешнюю вселенную, и нам кажется, что она всегда была здесь, поджидая нас. Сумей мы каким-нибудь чудом или инфракрасным прожектором пробить эту туманную стену, мы бы увидели эту будущую вселенную такой, как она есть. По крайней мере, мы не в силах избавиться от этого чувства. Мой разговор с милой и серьезной попутчицей – разве он не существовал всегда, поджидая меня, нераздельно ввязанный в будущее, как теперь необратимо вплетен в прошлое? Не ожидала ли меня эта поездка с тех пор, как я родился?

Не определила ли игра внешних причин и нашу счастливую встречу как деталь вечного факта, хотя бы и будущего? И не так ли было, когда саксы впервые вступили на этот остров, и сам остров принял свой нынешний облик, и когда родилось солнце?

И пятнадцать тысяч вчера назад, когда мы с тобой впервые взглянули друг на друга, не было ли наше будущее таким, какое оно есть на деле? Оно, конечно, было связано с нами будущими и потому недостижимо... но не ожидало ли оно нас уже тогда? Никто ведь не считает, что центр земли, будучи недостижим, не существует, пока кто-то до него не добурится.

На самом деле я даже не могу сказать, что в миг нашей первой встречи будущее было совершенно недостижимо. Ведь, заглянув в твои глаза, я (как я это помню!) пережил странное, поразительное чув-

ство, давно списанное на игру воображения, но забываемое. Твои глаза представились мне окнами, и занавески на них раздвинулись, открыв на миг широкое, неожиданное и неведомое пространство: затемненное расстоянием, но несомненное видение нашего общего будущего. Я, конечно, не мог рассмотреть его отчетливо, ведь зрелище мелькнуло лишь на миг, а я был глупый мальчик. Но я увидел, или так мне показалось, то, что теперь узнаю во всей нашей жизни, что так долго росло и только в последние годы начало расцветать. Сегодня волосы у нас седеют, на лицах след годов. Но цветы раскрылись. И странно, что я видел каждый цветок еще до того, как было посеяно семя.

Фантазии, чистые фантазии? Возможно! Но, когда мы думаем о времени и о вечности, разум мутится. Самые тонкие вопросы, на какие мы способны, оказываются сформулированы неправильно, ведь они – только трепыхание крылышек еще неоперившегося человеческого разума.

Первый акт творения, взорвавший космос к бытию, был – или не был (или то и другое сразу) в вечной со-реальности с сегодня и с последним слабеющим теплом последней умирающей звезды.

## **Глава 5**

### **Будущее человека**

*Духу человеческому открывается видение – Он  
пытается вспомнить видение – Огромность и  
ужас – Мотылек вылупляется из куколки –  
Шесть человеческих миров – Конец человека*

#### **Духу человеческому открывается видение**

Колокола! Колокола звонят о победе. Они пробуждают благодарность в каждом сердце, и радость – во многих, а в некоторых – жесткую память о прошлых обещаниях, так и не исполненных до сих пор. И кое-кто в нестерпимом конфликте надежд и недобрых предчувствий охвачен молчанием. Они-то, и только они, в глазах смятенного духа человеческого, обращены к стене тумана.

Равнодушный к колоколам и трубам, к парадам, знаменам и торжествам, дух человеческий смотрит в пелену будущего с надеждой и новыми опасениями. Он всеми своими глазами тшится пронзить непроницаемый туман. Он так сосредоточен на пелене

будущего, что настоящее незамеченным проносится мимо него.

Он впадает в странный транс. На долгое мгновение, пролежавшее между двумя ударами полкового барабана, он был вырван из времени в вечность и вновь обрушился в гребень волны настоящего, обогатившись великим переживанием. Между двумя рыками трубы дух человеческий увидел все зры будущего, собственную старость и смерть. Увидел он и жизни тысячи миров, и смертный срок космоса. Он увидел Дух – истинный Дух, достигший, наконец, полного роста, но искалеченный, ощупью отыскивающий путь к Темной незнакомке. Но отдалась ли та своему возлюбленному, дух человеческий не узнал.

### **Он пытается вспомнить видение**

Колокола все звонят. Толпы столицы ликуют. Но дух человеческий забыл о них, погрузившись в блекнущие воспоминания об этом великом мгновении.

Что случилось с ним? Если бы вспомнить пропавшее видение! Он помнит только, что в нем открылась огромность, непостижимая для человека: огромность одновременно (как незначительны, как досадно пусты эти стертые слова!) ужаснейшая и прекраснейшая неподвластным человеческому воображению образом. И в объятиях этого видения,



подобно клетке в живом теле, подобно слову в великой песне, дрожью струны в огромном оркестре, мгновеньем бытия, давно забытого и вечного, жила и умирала наша вселенная пространства и времени, галактик со множеством миров, со множеством разнообразных духов. Леденея и отчаиваясь при смутных воспоминаниях об этой огромности, дух человеческий все же стремится нырнуть в нее, напиться ею, как олень водами ручья. Ведь эта громада, неопостижимо чужая, в то же время (каким образом?) странно знакома и даже близка ему. И тот миг на отдаленнейшей вершине бытия был в то же время (но как, как такое могло быть?) потрясающим возвращением домой.

Отдаленнейшая вершина бытия? Нет! Дух человеческий, воспроизводя свои воспоминания будущего, признает, что не побывал на ней, потому что даже в тот душераздирающий миг над ним нависал недостижимый Чужак. Не к вершине унесло его видение, а к нижнему отрогу подножия. В далекой высоте, в облаках, скорее угаданный, чем увиденный, высился грозный пик, недостижимый ни для кого, даже для духа человеческого. И необъяснимо прекрасный. А далеко внизу, среди расщелин и горных лесов, на широких равнинах, ниточкой протекал ручей, один из множества, различных сквозь дымку. И в том малом ручейке, в одном из множества, дух Человеческий признал родную вселенную пространства и времени с галактиками многих миров.

Для нас в нашем малом и краткосрочном опыте, вселенная полна жизни и перемен, но видимая от подножия вечности, она была неподвижной и завершенной, а все ее эпохи присутствовали в ней одновременно.

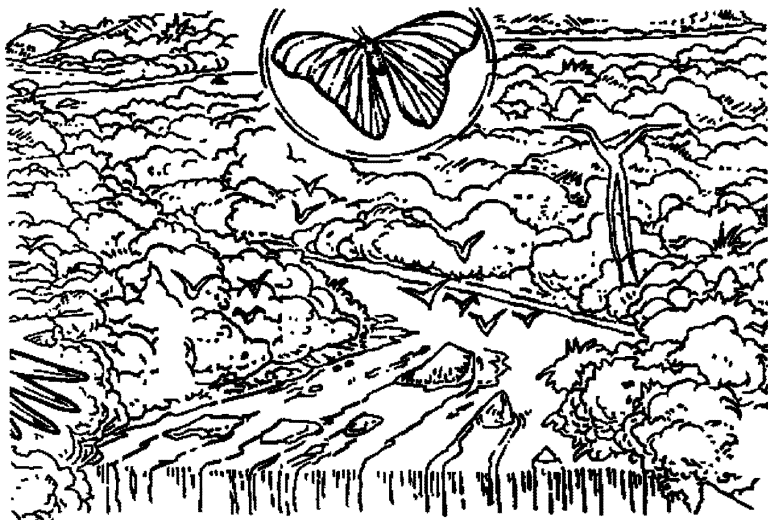
Желая разглядеть вблизи, дух человеческий парил над ней орлом. Зависнув над нашей вселенной, он подробнее видел каждую излучину реки времени, от ее истока в вечности до застойного болота вечной неизменности.

### Огромность и ужас

Все это он увидел в одно огромное мгновение. А теперь, снова рухнув во время, уносимый волной настоящего, он жадно и неумело пытается восстановить минувшее видение. Он смутно вспоминает, что на одной быстрине посреди потока видел, как рябь на воде, собственную жизнь во времени. Там, полувиденное, полуугаданное, лежало его пробуждение в отце Адаме. И там была его смерть. А между ними лежали века – для нас прошлые или будущие. Там блеснул рябью золотой век его детства, здесь – эра пророков, дальше – прогресс науки. А еще он видел – видел так, как человек на смертном одре вспоминает случай из детства – момент истории, который мы зовем настоящим. В нем звонили колокола победы. В нем, или мигом раньше, кормовой стрелок некоего самолета ощутил поцелуй мотылька. Здесь



погибла неизвестная святая одного города и она же метнулась к блаженству. Сегодня, после мгновенья вечности, как странно было духу вспоминать, что еще недавно этот настоящий момент мнился ему вершиной пути человека, если не всего космоса! Отыскивая в меркнувшей памяти вечный взгляд, он не сомневался больше, что на деле все совсем иначе. Тот миг, что для нас – настоящее, увы, вовсе не миг рождения из куколки завершеного мотылька. Наша борьба – всего лишь родовая схватка, одна из многих. Память о вечности ясно говорила ему, что впереди еще долгие века, в которых будет зреть и рождаться имаго.



Роясь в памяти в поисках тех времен, что для нас – будущее, дух человеческий видит только общие очертания истории. О том крошечном отрезке, который более всего заботит нас, а сейчас и его – и о том, что ожидает ныне живущих, он почти ничего не запомнил. Даже ближайшие несколько веков вспоминаются лишь темным и обманчивым образом. Так продолжителен весь срок его жизни, что целое тысячелетие, если оно не отмечено в глазах вечности чем-то уникальным и величественным, теряется, как теряется единственный день в воспоминаниях детства. Событий столетия или десятилетия и вовсе не различить. Конечно, там и тут происходят какие-то мелкие возмущения: случайная вой-

на или опустошительный социальный взрыв могут оставить маленькую зарубку в его будущей памяти, но в общем подобные события запечатлеваются в нем, только если они особо значительны.

Война, оставившая такой шрам в нашей жизни, сохранилась и в его памяти, но ему о нашем времени вспоминается несколько больше, чем голые очертания военных событий. Война была мелким, хотя и ярким происшествием в большой фазе мировых революций. Этот отрезок, хотя нам и кажется, что до осуществления его рукой подать, протянулся еще очень далеко в будущее. В свете воспоминаний о будущем, если это воспоминания, дух трезвее судит сегодняшний день. В будущих веках и десятилетиях он видел войны, куда более разрушительные, чем минувшая. Из века в век все более сокрушительные взрывы сотрясали страны, континенты, полушария планеты. В свой срок стали свободно применяться отравляющие газы и болезнетворные бактерии. Силы атома позволили человеку мгновенно обращать в прах города, опрокидывать горы на обитаемые долины, топить целые страны в наступающем океане. Хуже того, новые открытия позволили враждующим правительствам поражать население противника безумием, так что миллионы впадали в бешенство и бессмысленно убивали друг друга на улицах, губили собственных детей, бросались с высоты на землю или в море.

Эти безумные деяния вспоминаются духу человечества как тени, с отстраненностью полузабытого сна. Ведь для него они – мгновенья вечности, давние несчастья, необходимые для вечной славы и оправданные ею.

Однако, обратившись от далекого видения к недавнему прошлому, вспоминая в мучительных подробностях ужасы нашей войны, научные, дьявольские пытки, предшествовавшие ей, все жестокости, на которые оказался способен человек за его долгую жизнь, безграничные рукотворные кошмары, он ужасается прошлому и будущему.

– Какие нынешние блага, – восклицает он, – какая отдаленная утопия, какая будущая божественность возместит недолговечным существам моей плоти такие муки, обрывающие их мимолетные жизни прежде срока?

И теперь его воображение, оживленное воспоминаниями недавних бедствий, ощущает всю тяжесть будущих мук и горя. Истерзанная плоть, искалеченный разум, несбывшиеся надежды, оборванная любовь! Они громоздятся век за веком, эпоха за эпохой. И дух человеческий со стыдом и отчаянием признает, что тяжесть вины за эти несчастья лежит большей частью на его совести. Потому что это он снова и снова по невежеству или из упрямства обманывал свои члены, вдохновляя их на самоуничтожение.

– Верно, было бы лучше, – восклицает он, – если бы я никогда не пробуждался на этой планете, если бы земная жизнь никогда не развивалась до человека. Потому что, хотя у природы с ее окровавленными зубами и когтями натура зверская, у человека она – дьявольская!

Но едва вырвался у него этот крик, как он напомнил себе, что это лишь полуправда. Ведь его члены, когда их натуру не извращали жестокие обстоятельства, умели быть такими нежными друг к другу, такими вдохновенными. От отца Адама до последнего человека из последнего поколения люди неумело и мучительно стремились быть верными своему духу. И рано или поздно придет век, когда все человечество встанет на пороге нежной и щедрой человечности. Но все это, если верить его видению, в конечном счете тщетно. Никогда, во все будущие эпохи, человек не исполнит всего, что обещает. Мотылек, нерешительно расправляющий крылышки, не взлетит, а будет раздавлен.

Отчаяние этой грядущей катастрофы тяжело легло на дух человеческий.

И тут, как ступив в трясину или зыбучий песок, человек всем телом бросается к твердому берегу, дух человеческий в отчаянии отвернулся от видения вечности. Ведь ее ледяной пик получил над ним странную власть. Он понимает, или ему кажется, что понимает, что страдания тысяч миров и бесчисленных вселенных странно преображаются в вечности.

Но как, как это происходит? Ему не дано знать. Даже побывав у подножия вечности, он не знает. Теперь ему известно – как было известно и раньше, только отчетливей – что в вечности все преобразается. И еще он с ужасом и смирением понимает, что не только его малым членам, но и ему будущее сулит тысячи мучений и окончательное уничтожение.

Но вместе с этим сознанием благодетельное мгновение вечности внушило ему и другое: что муки, печали и гибель не напрасны. Но как же, как они могут быть не напрасными?

### **Мотылек вытупляется из куколки**

Нетерпеливо, страшись, что видение погаснет, не дав ему времени постичь свой смысл, дух человечества всматривается в него все пристальней, проходя темными коридорами будущей памяти к более и более ясному воспоминанию о смерти, и о том, что случилось после – не с ним, а с другим, пробудившимся с его смертью.

Он видит, что и на протяжении повторяющихся в ближайшем будущем войн его множественное тело продолжает постепенно формироваться. Человечество все в большей степени превращается в организм, пусть пока еще разделенный и объятый пароксизмами болезни. В организм, или просто в механизм? Эта система складывалась ради силы, а не ради духа. И в мире, и в войне жизни ее малых членов



были еще крепче связаны сетью органов, стальной сетью – увы, не товарищества, а механики, порожденной наукой. И, сплетаясь все прочнее, они образовывали плоть единого мирового существа, пока еще подверженного внутренним конфликтам. И, хотя через дьявольскую изобретательность человека ужасы войны становились все разрушительнее, они в то же время оказывались короче и реже. Ведь единство мирового организма мучительно, но победоносно утверждало себя, все надежнее связывая мятежные органы и клетки стальной сетью. Наконец будущее восстание стало невозможным. Войны прекратились. Все ткани имаго, казалось, полностью оформились и воссоединились – но только в области механики и доминирования, а не в духе.

Что-то пошло совсем не так. Оформившееся существо не могло взломать куколку. Мотылек не мог расправить крылья и вылететь в ожидающий его новый мир. Человечество, овладевшее ресурсами всей планеты, упорядочив ради власти всю жизнь человеческого рода, оказалось парализованным. Дух человеческий обессилел в каждом своем члене.

С усилием вглядываясь в эту страшную фазу своего пути, он видит, что, хотя все человеческие существа наконец созрели, и процветали, и полностью проявляли свои способности в общем деле, и наслаждались доступными удовольствиями, но каждый из людей утратил ясное сознание духа. Разум оказался в оковах, любовь задушили, а творчество

прекратилось. Люди выполняли предписанные им действия, и никто, кроме очень немногих, не задавался вопросом, ради чего все это. Традиция духа были утеряны. Люди жили в бесконечном сне лунатика.

Проходили века и тысячелетия, и дух человеческий, так и оставшийся в куколке, исподволь загнивал. Ведь ни одно существо не может жить живой смертью, не разрушаясь.

Дух человеческий вспоминает, как он сам, уже ослабев от праздности своих членов, в страхе перед гибелью сделал доблестную попытку внести свет в затуманенные умы людей, так что некоторые были потревожены в своей дремоте. Мало-помалу эти немногие, ощупью нащаривая путь из века в век, часто жестоко караемые как негодные детали механизма, воссоздавали утерянную мудрость, постигнутую давними пророками и замусоренную выдумками.

Долго духу человеческому казалось, что новое пробуждение не близится, потому что противоречит всесильному мировому механизму с его стальной и органической сетью. Но мало-помалу его отчаянные усилия привели к желанному чуду. Из века в век характер мира понемногу менялся. Отчаянная борьба между спящими и пробужденными умами охватила планету. Одна сторона была вооружена научными знаниями и механическими ресурсами, другая — только любовью к духу.

Наконец целые массы людей воспламенились от нового огня, и случилась великая перемена. Власть над миром перешла от спящих к бодрствующим. Дух человеческий наконец взял свое. Завершенное создание, человек, порвал узы. Мотылек, взломав тесную куколку мира, вылетел на простор, расправил хрупкие помятые крылышки, чтобы их закалило солнце более щедрого мира. Это создание было усовершенствовано, но не совершенно: создано для жизни в новой стихии, но исполосовано шрамами старых болезней. Минувшие века ненависти и страха оставили след в человеческой душе. Люди больше не были рабами, но умы их были отлиты в форму, созданной для культуры рабства. Мотылек обрел форму и свободу, но был слабым и чахлым. Снова и снова его индивидуальные члены тосковали по утраченной свободе куколки или по своевольной свободе болезни.

Но понемногу, как представилось человеческому духу, крылья его расправлялись и обретали прочность, новые ткани набирали силу. Один за другим сходили следы старых бедствий. Механизм, бывший тираном человека, становился его рабом, наука — добровольной служанкой. Земля из бессмысленного генератора энергии преобразалась в уютный дом для мужчин и женщин. И с этой переменой возростала сама энергия, ведь у свободного человека ее больше, чем у раба. И так, мягкой силой, понемногу менялись береговые линии, пропавшие континенты

вставали с морского дня, пустыни становились плодородными, Арктика прогревалась, города перестраивались по более благогоудным планам. Все люди жили в скромном довольстве, и у каждого был собственный летательный аппарат, открывающий доступ во все края. Дети росли в свободе и дружбе. Молодые люди воистину были сыновьями рассвета. И все граждане, сдружившиеся в общем труде, радостно отдавали силы тысячам различных предприятий нового мира. Старики, утомленные плодоношением, отдыхали в вечернем покое, ожидая смерти как сна после трудового дня. И в каждом сознании присутствовал дух человеческий – судья всех поступков и утешитель всех печалей.

Век за веком, эпоху за эпохой люди украшали свою планету и исследовали вселенную зоркими глазами науки. Эпоха за эпохой они развивали дух человеческий к расцвету искусства, самопознания и метафизической фантазии. В вечном поиске они то и дело натыкались на новые жилы духовных самоцветов и прорывались в новые миры красоты, познания себя или абстрактной истины.

## **Шесть миров человека**

Но время шло, и новые поиски открывали все меньше. Новые поколения все чаще должны были повторять достижения прежних. Вся жизнь стала ритуалом – изысканным, но все же ритуалом. Инст-

рументы были превосходны, но изощренная музыка повторяла старые темы. Крылышки мотылька созрели для полета, но могли только однообразно, бесполезно вздрагивать. Как видно, у этого существа отсутствовал инстинкт, приказывающий подняться на крыло.

Дух человеческий вспоминает, как, полностью владея всеми своими членами, он был растерян и бессилен. Ибо жизнь – это движение и подвиг, и где их нет, туда проникает смерть. Самая природа духа, на каждом уровне его существования, во всех его конечных формах, требует обогащения во взаимодействии с другими духами, и возрождения в этом обогащении. Где нет полета, туда закрадывается смерть. Духу человеческому было хорошо известно, что, если он не сумеет сорвать чары счастливого, но бесплодного ритуала, человечество вновь погрузится в вековой сон лунатика, в каком пребывают муравьи и пчелы. И вновь он избрал себе пророков, чтобы возбудить в людях новую неудовлетворенность.

В ответ на этот призыв род человеческий снова зашевелился. Снова крылышки мотылька забились в усилии оторвать его от земли. И помогая его взлету, люди отдавали теперь большую часть своих сил, совершенствуя человеческую природу, оттачивая восприимчивость и разум, любовь и творчество.

В свой срок землю населила благороднейшая человеческая раса. Их зрение было тоньше и различа-

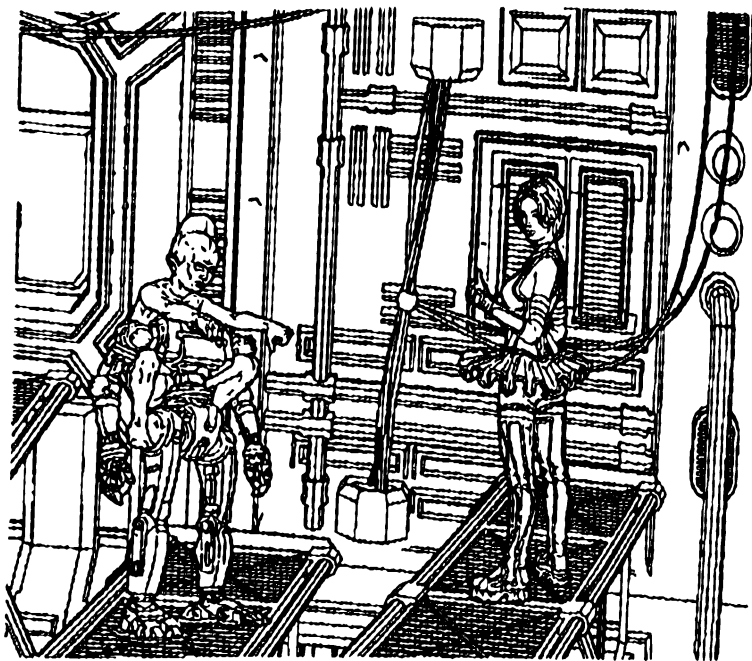
ло больше цветов, слух и обоняние превосшли чувства собак. Их прикосновение было нежнее прикосновения пчелы к цветку. Их зоркий и глубокий разум отменил примитивные идеи предков и создал новый мир идей, соответственно новому опыту. К тому же они познали собственную природу, и благодаря тонкости их самосознания и познания ближних, дух человеческий ожил и просветлел. Новая человеческая раса направила свою мудрость на исследование других планет – сестер Земли, ища на них не силы, но дружбы. Послушавшись своих пророков, они искали чужой разум, – чуждый по пристрастиям, но сходный по духовной основе. Вместе с ним они мечтали создать обширное содружество миров. Но их отважные странствия открыли, что человек одинок в солнечной системе. Ни на знойной Венере, где воздух не пригоден для жизни, ни на холодном засушливом Марсе, где жизнь существует лишь пятнышками низших форм, ни на бурном Меркурии, ни на огромном Юпитере, ни на других планетах люди не нашли разума. Дух человеческий, вспоминая это леденящее открытие из своего будущего, вновь вкусил охватившее его чувство одиночества. Обратив взгляды за самые отдаленные планеты, люди гадали, не одинока ли их дорогая Земля и в этой звездной черноте.

Однако новое человечество не легко мирилось с поражениями. Люди предприняли отважную попытку вывести новые расы существ, способных



заселить эти пустынные планеты. Ведь такие расы, неизбежно отличающиеся от земного человечества умом и телом, создали бы новое разнообразие и новые глубины духовного прозрения и духовной общности.

Попытка была предпринята. И через сотни тысячелетий солнечная система стала сообществом разумных миров, населенных расами, приспособленными к особым условиям каждого, но единых в остальном. Так на Венере, атмосферу которой обога-



тили кислородом специально выведенные растения, обитало человечество, наслаждающееся ее знойным климатом. Марс, также обогащенный атмосферой, вскормил полногрудых гигантов, которые подобно гиббонам прыгали и карабкались на деревья своего маленького мира. На тяжелом Юпитере и окольцованном Сатурне жили пигмеи с мощными бедрами, со ступнями, подобными пьедесталам, что помогало противостоять притяжению и давлению этих планет. Они боролись с вечным холодом, извлекая



энергию из расщепленного атома. Даже на далеком Уране в укрытых под землей городах жили люди. Не заселенными остались лишь две внешние планеты.

Каждый из этих шести миров за столетия выработал собственный, подходящий ему образ жизни, свое искусство и свою мудрость. Жизненные потребности каждый мир удовлетворял по-своему, но роскошью, искусством и мудростью они наслаждались сообща. Конфликт волей случался и между этими мирами: так например, Уран потребовал, чтобы на Антарктическом континенте основали огромное поселение для гостей-уранян, способных жить лишь в самом холодном земном климате. Но поскольку все расы, различаясь так во многом, были одинаково верны общему духу человеческому, конфликты, иногда мучительные, только обогащали их.

Духу человеческому, углубившемуся в будущие воспоминания, представляется, что более миллиона лет расы солнечной системы совершенствовали свои общества и изощряли культуру. Но под конец и они, подобно первоначальному земному человечеству, достигли стабильности и вступили в долгую фазу ритуализированной жизни.

Дух человеческий – теперь уже зрелый дух шести миров – предвидел этот смертоносный застой. И снова он обратил взгляд к звездам. Все усилия физиков шести миров установить физический контакт с какой-нибудь разумной расой вне солнечной системы, оказались тщетны. И, хотя люди постоянно

пребывали словно бы на краю великого прорыва в искусство телепатии, развить ее им так и не удалось. А физическая связь с планетами ближайших звезд выглядела недостижимой – слишком уж велик был океан межзвездного пространства. Ни одна попытка физической или психической связи не удалась.

Целую вечность шесть миров вели счастливую, но стереотипную жизнь. Новый век не отличался от предыдущего, и для быстрого разума находилось все меньше дела. От этого разум мало-помалу впадал в кому. Наука стала мистическим ритуалом, искусство – сложной игрой по правилам вековой давности, личные отношения требовали не взаимного познания, а формальной вежливости, религия, напоминая когда-то о подвигах крестовых походов, стала удобным и приличным ритуалом.

Дух человек, словно зритель скучной игры, словно путешественник в снежном заносе, боролся с подступающим смертным сном.

Между тем безнадежное существование шести миров затянулось на тысячи и миллионы лет. День становился все длиннее. Луна, отдаляясь от Земли в своем вращении, представляла ее обитателям уменьшающимся диском, а затем, сужая круги, становился огромным шаром в небе, и наконец, разорванный силами притяжения спутник распался на миллион обломков, образовав яркое кольцо, как у Сатурна. Отныне люди видели в ночном небе осле-

питательную дугу, освещенную солнцем. Между тем само солнце, исчерпав свою энергию, стало меньше.

А люди шести миров, как шестерка лунатиков в общем танце, все исполняли свои бесконечные ритуалы.

Эпохи сменяли друг друга. Менялся рисунок со звездий. Старые звезды тускнели и гасли одна за другой. А для тех, что прежде были в расцвете сил, близился кризис, который должны в свой срок пережить многие звезды. Загоревшись на несколько недель фантастически ярко, они затем впадают в тусклую дряхлость.

Шесть миров знали, что скоро так случится и с их солнцем, которое поглотит или разорвет свои планеты.

### **Конец человечества**

Сегодня, когда колокола звонят победу, дух человеческий добирается в воспоминаниях будущего до эпохи, когда ожидание катастрофы охватило умы всех людей. Не было способа спасти мир от гибели. Малый человек никакими средствами не может сдержать силу звездного взрыва или избежать его. Шесть миров, подпав под тень гибели, изменили свой характер. И дух человеческий наконец стряхнул с себя сонливость, чтобы встретить смертную угрозу без надежды ее отвести. Он готовился к концу.

То же происходило с мужчинами и женщинами в шести мирах. Точную дату взрыва предсказать не удалось, но случиться он мог в любой момент, и наверняка — не позднее нескольких столетий. Было время, когда люди, укротив свой дух, горячо обсуждали, совершить ли им массовое самоубийство, или продолжать прежние дела, презирая будущее. В конце концов они решили не торопить катастрофу и даже не отказываться от продолжения рода. Ведь расчеты могли обмануть их, и быть может, их народной цивилизации предстояли еще тысячи лет жизни. И даже если конец, как ожидалось, наступит в течение века, они решились встретить его в полном сознании, с достоинством. Пусть дети рождаются по-прежнему, даже если их ждет гибель. Пусть дух человеческий испытает все, до последнего мгновенья. Пусть великие сокровища опыта, накопленные им за много эонов, станут завершенными, чтобы он мог с благоговением и трепетом сложить их к ногам Другого.

И еще много веков шесть миров продолжали жить в ожидании последнего мига. В это время их главной заботой было исследование психических средств сообщения Духа с Другим, и собственных перспектив в вечности. Но поиски ничего не дали. Другой, казалось, был совершенно равнодушен к их судьбе.

Не удивительно, что в конце концов в людях шести миров пробудилось отчаяние и жестокое негодо-

вание против темного Другого. Дух человеческий в этот последний краткий момент своей долгой жизни сотрясаясь от новых конфликтов между его членами. В каждом мире одни хранили верность Духу, а другие бунтовали против него.

– Что толку, что толку, – восклицали они, – хранить верность Другому, недостижимому и равнодушному? И зачем упорствовать в служении Духу, который, в конечном счете, всего лишь фантом, не имеющий опоры в космосе – лишь вымысел наших глупых мозгов? Все поколения, начиная с отца Адама, обманывали себя. Мы потратим последние века, или годы, или мгновения на то, чтобы урвать побольше удовольствий.

И вот, под висющим на волоске мечом, они наслаждались всеми радостями, какие способна была дать им наука. А жители Урана, надеясь вопреки всему, что пожар далекого солнца не достигнет их, бешено зарывались в камень своей планеты, расширяя подземные города, чтобы спастись от наступающего жара.

Но в каждом мире многие из последнего человечества сохранили верность духу.

– Пусть мы одиноки, – говорили они, – и пусть мы единственный во всем космосе сосуд духа, и сами скоро исчезнем, но мы будем за Дух до последнего нашего вздоха.

Дух человеческий, хоть вновь владел не всеми своими членами, пребывал абсолютом для многих.

Бодрствующий, как никогда прежде, он приветствовал Другого и готовился к последней агонии и последнему сну.

Мотылек – это завершенное, но так и не взлетевшее создание, встретился со смертью. И, хотя отчаяние снова грозило парализовать его члены, его крылышки трепетали с новой силой, отважно отбивая ритм – вот-вот взлетит. Но скоро крылья, и плоть, и дух будут разбиты, раздавлены подошвой гиганта.

В некий день накопленная солнцем энергия, таившаяся под его съезжившейся поверхностью, внезапно прорвалась наружу, расплескав огненный шар.

На несколько часов все народы шести миров ослепли от сияния. Потом мир за миром поглотил огонь.

Дух человеческий, подобно давным-давно целовавшемуся с мотыльком кормовому стрелку, был уничтожен.

### ***Пятая интерлюдия*** ***Дом без тебя***

Я возвращаюсь в пустой дом. Три ночи и три дня в нем не будет тебя.

Дом все тот же, но стал иным: очаг без огня, незажженная лампа, неспетая строка песни. В столо-

вой на спинке твоего стула висит оставленный тобой старый синий плащ. В кухне на каминной решетке лежат садовые перчатки, а стрелки стенных часов отсчитывают секунды твоего отсутствия. В кладовке – приготовленные тобой для меня блюда, их хватит до пятницы. В спальне – старинная щетка для волос и поломанный гребешок, флакончики духов, книги, которые ты не удосужилась прочитать и памфлеты, листовки, газеты – и кровать, вмятина на половине которой скоро расправится.

Чем скорее я усну, тем лучше, потому что без тебя это не дом.

Когда ты здесь, это настоящий оплот реальности. Пусть ветер воет за стенами, он бессилен. Правда, полчища призраков вечно бьются в эти стены: призраки войны, общественных конфликтов, сил эволюции и, главное, призрак холодного неведения. Все они огромные и грозные. С некоторыми приходится иметь дело – и все же все они, пока ты здесь, бестелесны, как будто нереальны. Даже бомбы, сотрясавшие дом (так что я до сих пор боюсь дребезжания дверной ручки) были, при всем их вое и грохоте, не вполне реальными.

А теперь, когда ты ушла, нет света, который бы отогнал подступающие тени, нет тепла, чтобы противостоять внешнему холоду. Фантомы обретают реальность. Вой ветра устрашает. В эти хрупкие стены всем весом бьется жестокая вселенная. Стены прогибаются внутрь, трескаются, в щели видны ле-

тящие тучи, отравленная войной планета, и умирающие солнца, стиснутые изнутри вечностью холодной темноты.

Но в пятницу ты вернешься домой: снова загорится лампа, зазвучит песня, призраки упокоятся. То, что нас объединяет, дух, связывающий нас, как шар связывает свои полушария, снова и несомненно станет сердцем реальности



# Глава 6

## Космос и то, что за его пределами

*Космическая община – Жизнь и смерть космоса  
– Дух и другие*

### Космическая община

Сегодня, когда колокола звонят победу, дух человеческий вспоминает будущее мгновение своей смерти. Его видение, ухваченное между двумя ударами колокола, было тем же видением, которое предстанет перед ним в миг будущей смерти, только предвосхищенным. В изумлении и замешательстве он пересматривает в своих воспоминаниях собственную смерть. Ведь в тот миг он, как некогда, много зонов назад, некий кормовой стрелок, разом исчез и пробудился.

Обрушиваясь в вечный сон и ничто, дух человеческий видел, как перед ним чудом разворачиваются все века, от его зачатия в отце Адаме до гибели в народах шести миров. Все стадии жизни протяну-

лись перед ним, как цепочка бусин, разнообразных, несхожих, тускло светящихся изнутри. В каждой светились глубины смысла, недоступного ему прежде.

И в этот миг уничтожения, оценивая каждый шаг своей жизни, он с беспокойством сознавал, что другой, вне знакомого ему я, тоже судит, словно заглядывая ему через плечо. Это чуждое, незнакомое ему я всегда коренилось в нем, замешанное в каждое его желание, во все мысли и действия, но было бес-  
сильным и преходящим, а теперь словно проснулось и тщательно выпутывалось из клубка человеческого существования. Дух человеческий в свой последний миг жаждал продолжения жизни и оплакивал зоны своей сонливости, мучительного загнивания в куколке, и крылатой зрелости мотылька, столь много обещавшего, но увечного и беспомощного, и наконец свою бессмысленную гибель. А другой внутри его – чистый дух – рассматривал всю трагедию со всеми ее ошибками словно с высоты. Он восклицал:

– Не я, не я этот полусонный, до сих пор жалеющий себя, привязанный к человеку дух! Слишком нерешительно, слишком неуверенно и неверно правил он своими членами. Нет. Он был не я. А я, я? Что же я такое?

Дух человеческий в миг своей гибели страшился и восхищался этим существом, пробудившимся внутри его, вырвавшимся, казалось, из его же ду-

ховной плоти, но чуждым, возвышенным, обретшим свободу в его смерти.

Пристальнее вглядываясь в будущие воспоминания о своем конце, дух человеческий с человеческим ужасом видит гибель всех своих членов и собственное угасание. И с личной обидой он видит этого незнакомого себя, который, кажется, и не он вовсе, торжествующего над его гибелью. Но тут же, в свете чудесного видения от подножия вечности – видения вниз по времени и вверх, к вершине вечности – гаснут его ужас и обида. Он рассматривает свой конец с искренним одобрением, даже с восторгом. Обреченный на уничтожение, он отождествляет себя с этим выжившим чужаком. Ведь то, что умерло с его смертью, даже будучи его драгоценным я, было лишь сосудом, скорлупой, оболочкой того, что выжило. Это, по крайней мере, ясно духу, просветленному видением вечности.

Вот что он знает: в этот далекий будущий момент гибели человека он, дух шести миров, канул в забвение и больше ничего не испытает. Но то, что было в нем – не он сам, а, неким темным образом большее, чем он сам, пробудилось в своей истинной природе и открыло в себе дух не шести человеческих миров, а великого множества миров, рассеянных по звездным галактикам. Этот более щедрый дух изначально мыслил многомировым воинством. Для него, в его просторном многомирном существовании, этот простой дух планетной системы, низ-

менный дух человеческий, был не более чем одной ниточкой сонных грез и мыслей, теплившихся на краю сознания, пока его внимание было занято высшими материями.

Великое сообщество миров, совместно поддерживавших этот высокий дух, включало большие и малые, молодые и старые планеты, разбросанные среди галактик, как горсть легких семян, плывущих в бескрайнем небе.

Эти миры были двух порядков. Многие, подобно шести мирам человека, были слишком низменны, чтобы проникнуть в цельное и светлое сознание большего духа. Они слепо, бессознательно вносили свой вклад в его существование, как клетки, мышцы, внутренние органы вносят свой вклад в сознание человека. А другие миры, более развитые и просветленные, были подобны клеткам мозга, складывающимся в индивидуальный разум. Эти более светлые миры, во многом различные, были сходны тем, что их народы достигли психической силы, недоступной человеку. Сознывая свою основополагающую психическую общность, они поддерживали связь друг с другом через переплетающиеся бездны пространства. В измерении духа их не разделяли океаны. В духе они были едины, были одним. Таким образом, эти миры были, по сути, множественным мозгом космического духа.

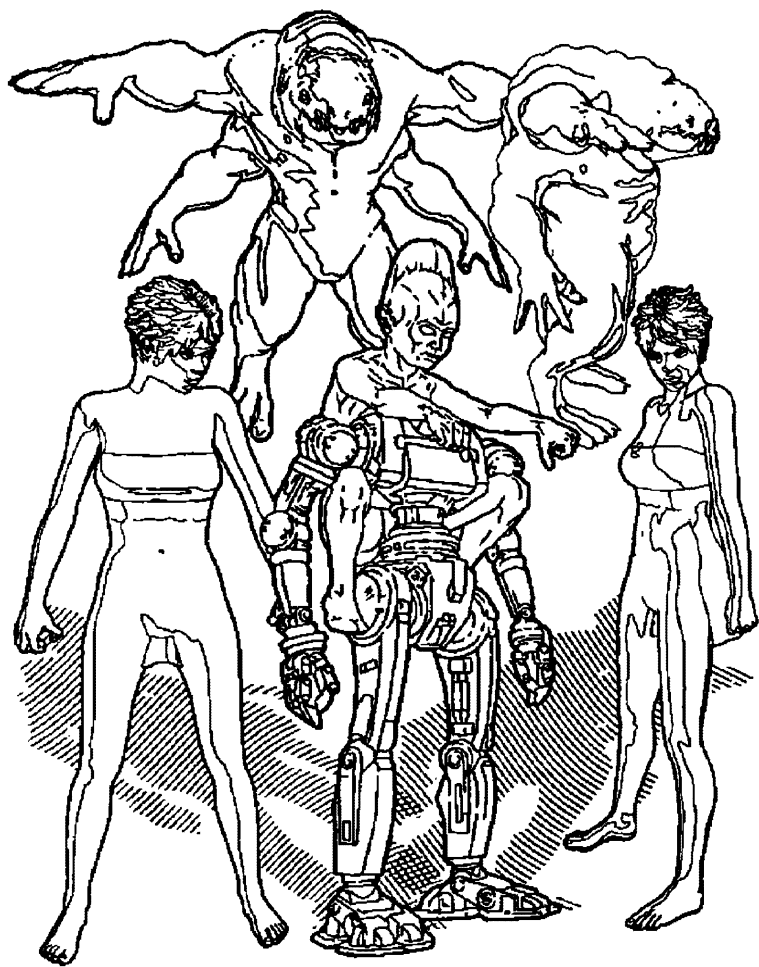
Эти пробудившиеся миры (как представляется низшему духу человеческому) заботила почти ис-

ключительно жизнь духа. Однако природа этой высшей жизни едва ли постижима для низшего духа, потому что его разум – низшего порядка. Он знает одно: что космическое сообщество миров, как всякий подлинный дух, занято размышлениями над чувственными и духовными тонкостями космоса и, главное, над тонкостями взаимного познания личностей всех порядков – и еще занято созданием новых видов искусств, философии, взаимодействий, новых проявлений духа.

В этом высшем предприятии низший дух шести человеческих миров, конечно, не принимал сознательного участия. Мотылек человечества не дерзал залетать в эти высшие духовные сферы, где мировое человечество мыслит единым духом. Как видно, человек был слишком низменным для такой попытки. Его функцией в существовании целого было лишь бессознательно пополнять основные тона и температурный великого космического духа.

Или все еще трагичнее? Может быть, шесть миров по природе своей были сознательными частями космического духа, но некое чуждое и враждебное влияние отравило их, помешав исполнить истинное предназначение? Мотылек был создан для полета, но хроническая болезнь безнадежно искалечила его.

А если это было так, если это можно сказать о шести человеческих мирах, то, может быть, это относится и ко множеству бесплодных миров по всем галактикам? Так, по крайней мере, представляется



погруженному в будущие воспоминания духу человеческого. Ведь кажется, даже великий единый дух космического сообщества миров не воплощен во всей полноте. Кажется, и он подточен, изувечен болезнью, охватившей так многие из его членов.

Дух человеческий смутно вспоминает великое разнообразие миров и рас космического сообщества. В большинстве они были подобны человеку, но некоторые имели на удивление нечеловеческие тела и умы, отличаясь и восприятием, и образом жизни. Некоторые были до того чуждыми, что дух человеческий, вернувшийся к своему земному статусу, лишь невнятно ощущает нечто непостижимое для человека – так мы, проснувшись, припоминаем странный сон или кошмар и только и можем рассказать, что его не опишешь словами и не постигнешь умом. Другие же миры, в которые успел заглянуть дух человеческий, он мог постичь хотя бы в общих чертах. Среди них были странные планеты, заселенные не отдельными индивидами, а непрерывной живой тканью, распростершейся по всей поверхности. Из рас индивидуумов многие были очень несхожи с человеком. Для одних родной стихией был океан, другие – крылатые воздушные создания – по страной прихоти фортуны достигли пределов человечества и проникли в его видения. И все же духу человеческому кажется, что большинство миров космического сообщества населяли существа,

в целом подобные человеку. Планеты земного типа – самые гостеприимные для жизни.

Дух человеческий, еще недавно вспомнивший весь свой путь до момента гибели, теперь, столкнувшись с воспоминанием о таком множестве человекоподобных рас, засомневался, какой же из них владел он сам. В самом ли деле он был духовным Я тех шести миров, что пожрало солнце? Или он принадлежал к одной из более удачливых рас, присоединившихся в конце концов к космическому сообществу? Или он был одним из многих, не сумевших вылезти из куколки, или из тех несчастных, что, слишком рано вооружились энергией атома, не поднявшись еще до тех духовных высот, которые позволяют правильно распорядиться этой силой? В его видении смутно мелькнули многие такие расы-подростки. Одна столь безрассудно распорядилась этой разрушительной энергией, что превратила свой мир в необитаемую пустыню. Другие воспользовались новой силой, чтобы перестраивать собственную биологическую природу, и по неразумию сделали себя нежизнеспособными или попросту безумцами. Немало было и таких, кто, играя с могучими силами, превращал свои планеты в горстки астероидов.

Чем долее дух человеческий перебирает в мыслях эти миры, тем больше он сомневается, которая из промелькнувших человеческих рас – его раса. Быть может, он все же принадлежал к тем немногим, кто



постепенно набирал силу, чтобы в свой срок дойти до исследования космоса телепатией и ясновидением – к тем, кто в свой срок стал первопроходцем и основателем космического сообщества? Он не знает. Однако скорее всего, почти наверняка, он все же дух шести низших миров, уничтоженных пламенем.

## **Жизнь и смерть космоса**

Дух человеческий помнит, как от подножия холма вечности он видел рождение, смерть и всю жизнь космоса. Он засвидетельствовал первое мгновение космического времени, когда творческая мысль верховного Другого проявилась в единственной световой точке, беременной всей энергией будущей вселенной. Но о самом замысле и о его источнике он ничего не знал, потому что даже в то вечное мгновение вершина представлялась небесной белизной, изрезанной шрамами расщелин и смутно проглядывавшей в высоких белых облаках. Зато он хорошо помнит, как из этого невообразимого замысла выплывали пространство и время, вся физическая энергия и духовная сила.

С того первого мгновения космос затягивало расширяющееся газовое облако, медленно распадающееся на отдельные облачка. Те, в свою очередь, раскручивались и уплощались, выбрасывали спиральные рукава, крошились на звезды. А там и тут летучие вихри первородной силы сталкивались со

звездами и вырывали из них материю для будущих планет. И там и тут среди новых миров зарождалась жизнь; там и тут – дух.

Одна за другой созревали галактики. Все новые разумные миры связывались друг с другом через космическую пустыню; вернее, они погружались в глубины собственной психической природы, пока не отыскивали в глубине тайное единство духа. И в своем разнообразии, и в основополагающем духовном тождестве космическое сообщество обогащалось опытом и объединялось целью. В этом единстве и богатстве пробуждался дух вселенной множества галактик, нашего космоса. Ведь дух этого космоса был просто единством опыта и воли, превосходящим все богатство его разнообразия, и он властно требовал объединения вопреки всем конфликтам. Снова и снова завязывались жестокие распри, оружием в которых служили не физические, а психические силы. Противники, разделенные непреодолимыми далями пространства, могли, тем не менее, уничтожить чужой разум в прямом столкновении мысли и воли, могли разбить трудно завоеванную общность, незаметно вливая психическую отраву в умы вражеского мира. Причиной этих космических схваток неизменно оказывалось разногласие в вопросе, как космическому сообществу лучше исполнить свое предназначение, а предназначением этим было – служить сосудом духа. Эти войны были войнами религиозными. Потерями в них оказывались

безнадежно отравленные миры, бранные останки духа.

Низшему духу человеческому, когда он вспоминает это возвышенное видение, представляется, что вопреки конфликтам, снова и снова терзавшим космическое сообщество, вопреки неудачам, погубившим многие благородные миры, космическое сообщество эон за эоном набирало силу и согласие. Его миры становились все внимательнее к общей цели. И эта общая цель, как она виделась низшему духу человеческому, требовала, чтобы каждая индивидуальная жизнь во всем этом разнообразии миров стала темой богатого и истинного опыта, духовного творения; чтобы каждый индивидуум был внутренне связан с другими, непохожими на него, восприимчивой любовью и далеко протянувшимися нитями товарищества, и чтобы космический дух безраздельно властвовал во всех умах и мирах, воплощаясь в познании и любви.

Но жизнь космоса не могла длиться вечно. Так же, как всякий разумный мир, каждый мужчина, каждая женщина, каждая мушка и мотылек должны умереть в свой срок, так должен умереть и великий дух космоса.

Мириады существ уже предвидели смерть своей вселенной. Физическая энергия космоса непрерывно рассеивалась. Звезда за звездой гасли, словно искры на ветру. Все новые миры вынуждены были поддерживать свое тепло и жизнь распадом атомов

своей планеты. Все новые расы должны были прибегнуть к евгенике, чтобы приспособить свои тела к жизни не на планетах, а на остывающих поверхностях бывших солнц. Несчетные эры космос превращался в темную пустыню, освещенную изредка проблесками искусственного света – там разумные расы боролись за жизнь, за то, чтобы до конца сохранить свет космического духа. И в самом деле, гибнущее космическое сообщество теперь посвятило себя одной несокрушимой цели. Пока его расы смогут поддерживать свет космического духа, они будут жить, чтобы передать этому духу все богатство опыта. Когда же, наконец, перед ними предстанет неизбежное вырождение, расы эти одна за другой уничтожат себя. Воля обитателей космоса требовала, чтобы космический дух умер не дюйм за дюймом, в полном просветлении. С тех пор, как первый разум в первом из миров стал сосудом космического духа, этот дух со страхом и восхищением стремился к темному Другому, своему предполагаемому создателю. Но пока космический дух не достигнет полного роста в красоте, мудрости и умении любить, он (или она, ведь сложные духи неизбежно должны быть гермафродитами) не созреет для познания Другого.

В последние дни космоса дух – или душа – космоса нетерпеливо ждала встречи с невидимым возлюбленным, в котором нуждалась, даже ничего о нем не зная. И верил (или верила), что тот тоже ну-

ждается в нем. Но смерть оказалась иной, чем она ожидала.

## Душа и Другой

Духу человеческому от подножия вечности представилось, что задолго до того, как материальный космос погрузился в холодную темную неподвижность, его дух умер, но гибель пережила его суть – истинная, единая и всеобщая душа. Эта душа высвободилась из гибнущей отдельности космоса и обрела себя в истинном Духе, едином для бесчисленных сфер творения, из которых наш космос – лишь одна.

О тех чуждых сферах дух человеческий, перебирая короткое видение вечности, ничего не может вспомнить, кроме смутной убежденности, что они действительно существуют, но для существ, вскормленных этим космосом, останутся навеки непостижимы. Он знает только, что они никак не связаны с этим космосом, кроме как опытом духа, единого для всех, и что в каждой из них, как и в этом космосе, дух вечно стремится к пробуждению в мудрости, любви и вселенской общности творящих. Духу человеческому, вспоминаящему видение вечности, смутно представляется, что душа каждого космоса в некий момент космического времени гибнет, а единый всеобщий дух, высвободившись при этой смер-

ти, сохраняет в себе все сокровища опыта, обретенные в каждом космосе.

Духу человеческому представляется, что мировая душа, прекрасная красотой всех миров, стремится к соединению с темным Другим, ее творцом. Ведь в этом союзе создания и создателя воистину воплотится любовь.

Однако низший дух человеческий, вглядываясь от подножия вечности, видит только, что мировая душа, воплотившая красоту всех сфер творения, умирает. Ему не дано знать, растворяется ли она в высшем духе, освобождая его, как смерти меньших духовных сущностей, или же, умирая, она переносится в блаженное единение с создателем, или даже для нее темный Другой остается непостижимым и недостижимым.

### ***Шестая интерлюдия Сломанная игрушка***

Когда ломалась сама дорогая, любимая игрушка, и ребенок с плачем бежал к тебе, ты вся отдавалась утешению. Пусть весь мир подождет. Пусть звонит телефон, пусть уходит без тебя поезд. Ничто в подлунном и небесном мире не должно встать между тобой и облегчением его горя. Поцелуи, объятия, призывы к храбрости и осторожные шутки – лишь бы смягчить горе, вызвать, наконец, слабую, неохотную, смешную, жиденькую улыбку!

Или ты говорила: «Давай спросим папу, не сможет ли он починить бедняжку Джумбо!». Тогда я, робко бунтуя, но покоряясь настойчивости заплаканных глаз и твоей нежности, приступал к неумелой хирургии, чтобы вернуть Джумбо в любящие руки заплатанным, хромым или косым, но более или менее целым.

Эта страстная нежность, вспыхивавшая в ребенке к игрушке, а в тебе к ребенку, зарождалась (так уверяло мое сердце) в сердце космоса.

А вечная гибель невинных? А доктрина Гитлера? А суровый закон энтропии?

Утешенный ребенок сиял над исцеленным Джумбо, а ты – над ребенком.

## Глава 7

# Спасение

*Дух человеческий оплакивает человека – Кормовой стрелок и другие*

### **Дух человеческий оплакивает человека**

Дух человеческий смутился, уяснив свое невысокое положение в великой иерархии существ. Над ним возвышались многие разряды духов, вплоть до мировой души, а дальше, еще дальше – даже над тем духом, чья суть в разуме, любви и отважном творении, высился скрытый завесой, непостижимый Другой.

Дух человеческий смущается, поняв, что и он, подобно мужчинам и женщинам, в свой срок должен умереть. Однако, задумавшись о своей смерти, он примиряется с ней в надежде, что его жизнь чуточку обогатит некое высшее существо, а в конечном счете – сам великий Дух.

Но, опуская взгляд на мириады живых и мертвых индивидуальностей на Земле и во множестве других миров, он видит, что очень немногие из них способны на такое смирение: каждый так озабочен собст-



венной индивидуальностью, что страшится уничтожения, как ребенок – темноты. Сочувствие пронзает дух человеческий – он жалеет эти крошечные бесплодные существа за их малость, беспомощность, жестокие разочарования и терзания.

И в нем вспыхивает отчаянный протест против Другого, как видно, допустившего эти страдания.

Но тут же, вспоминая высшую вершину бытия, холодную, прекрасную и ужасную, он шепчет в своем сердце: «Ты, о, Ты! Твое малое недолговечное создания не смеет судить тебя. И все же... если бы мне увидеть, хотя бы почувствовать правоту твоей воли! О, Ты! Я готов осудить, но должен поклоняться!».

И новая мысль освещает темноту его разума: мысль о пережитом спасении – и о спасении других душ.

– Для меня нет иной уверенности, – говорит он, – нет иной сути, кроме этой мировой души, которая явлена во мне лишь мельчайшей частицей своей природы, стиснутой пределами человечности. Во мне умирающем она, которая больше Я, чем я сам, обретает свободу. А в ее освобождении (так говорит мое недавнее видение) Я обретаю завершенность. То, что умирает с моей смертью, умирает полностью, но то, что выживет, полностью воплощается в безграничном духе. И потом, разве в видении своей будущей смерти я не видел, как смерть воскрешает всю мою земную жизнь, чтобы я обозрел ее новыми

глазами от подножия вечности? Разве я не видел своей печали, своего стыда, своих ошибок и неотступного раскаяния преображенными, вставшими на свои места в суровой и прекрасной картине мира? Если это так для меня, почему это не так для меньших духов, даже для мужчин и женщин, и для собак и ящериц, деревьев и плесени, для болезнетворных бактерий; даже для мельчайшей из возможных искорок духа в каждом атоме? Когда смерть уничтожает их, дух их высвобождается и взбирается на высоты бытия, чтобы полностью пробудиться в мировой душе. И разве она, вся суть которой – любовь, не смотрит при этом с любовью на малые жизни, не воссоздает на время эти малые души внутри своей огромности, чтобы каждый мог увидеть свою жизнь преображенной в глазах вечности? И не обрадуется ли тогда каждый малый дух, обретший полноту и спасение, вечному сну? В каждом из них умирает одиночество и слепота. Если это – «он», то «он» в самом деле гибнет; но если «он» – это тот чужак, что пробуждается с его смертью, тогда «он» восходит к подножию самой вечности и видит свою малую земную жизнь преображенной.

Размышляя таким образом о низших душах, дух человеческий обретает покой. Потому что, если его мысли верны, то все до последнего обретают спасение более блаженное, чем мог бы вообразить лучший из них.

И все же покой духа человеческого нестойок. Он снова с ужасом и благоговением вспоминает Другого. И в новом сомнении он снова опасается за спасение братьев-духов – ведь Другой кажется таким равнодушным, бессердечным, глухим к призывам. Но и в страхе дух человеческий восхищается им – как восхищается им сама Душа на краю смерти и одиночества.

– Так же, – восклицает он, – будет и с меньшими духами, когда они воскреснут внутри души. Их спасение несомненно!

И тут настроение духа меняется. Обдумывая земные жизни мужчин и женщин, подверженные жестоким обстоятельствам, слепым историческим силам, он престаёт чувствовать Другого. Странное опьянение покидает его. И наконец он жалуется:

– Другой? Какой Другой, кроме слепой, безумной судьбы и не заслуживающей поклонения тьмы внешней, существует в этом бессмысленном мире?

Его отуманенный разум замирает.

Но настроение вновь меняется.

– Пусть так, – восклицает он, – пусть Другой – всего лишь проекция мои желаний и страхов, но все же существует душа, несомненная душа во мне, в людях и в других мирах. И этой душе я буду безраздельно предан.

Дух человеческий обращает мольбу к самой душе:

– Овладей мною целиком! Пусть я стану наполненным сосудом, настроенным инструментом. Дай

мне сердце, ум, воображение, чтобы служить тебе в космической битве против тьмы и пустой бессмысленной судьбы!

Но едва отзвучала эта молитва, как его, подобно неожиданному ответу, снова охватывает непреодолимое чувство присутствия Другого, и он только и может, что прошептать:

– Ты, о, Ты!

### **Кормовой стрелок и другие**

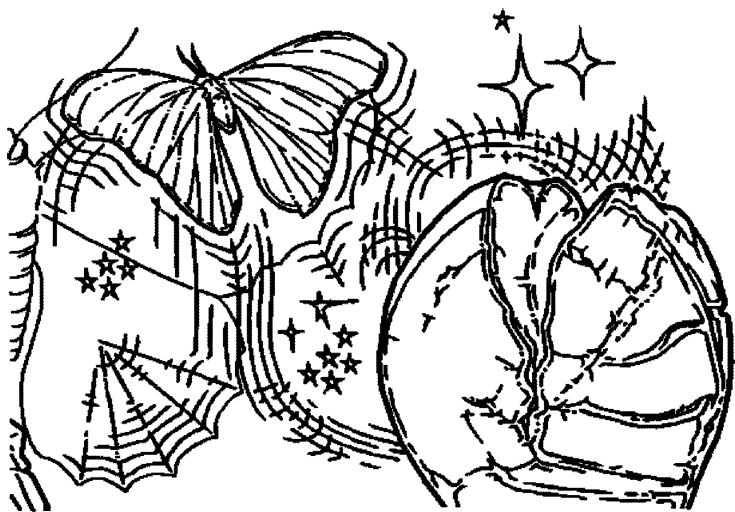
Дух человеческий, обдумывая свое видение, постигает, что каждый из низших духов может воскреснуть в величии Духа, но ему все же кажется, что бесконечная нежность мировой души к каждой отдельной личности должна подвигнуть ее на высший акт любви, на пробуждение малых духов для спасения и последнее блаженство сна.

Кормовой стрелок того самолета, в котором бился мотылек, несомненно обрел спасение. Он, погибший со всем экипажем, он, умерший и пробудившийся в командном духе, и затем в духе погибших в той битве, а затем в духе человеческом, и затем – в духе целого космоса, и наконец в самой мировой душе, стремящейся к Другому – он нашел свое спасение. И это спасение – не просто освобождение более благородного духа своей смертью. Нет, милосердием мировой души крошечный дух кормового стрелка на время воскрес во всем ее величии.



Кормовой стрелок обратился к своей малой земной жизни и смерти, но вместе с ними начал постигать прошлое и будущее человеческого рода и других миров, и подножие вечности, и проблеск высочайшей вершины бытия.

– Когда я, – рассуждал он, – был заперт в том самолете и в дремлющей натуре того мальчика, какой темной и безрадостной была моя тюрьма! Сквозь решетку я видел только человеческую жестокость и равнодушные звезды. Как растерянно я искал отваги, пролетая над проливом! Когда прикосновение мотылька разбудило во мне тоску и жалость к себе, как я готов был сломаться! И какой фантастичной, смешной, призрачной была та маленькая вселен-



ная, свитая мной вокруг себя наподобие кокона, в убеждении, что она – не выдумка, а огромная и жестокая действительность. Да, а моя жалкая, неловкая, самоуверенная любовь, такая слепая, совсем не похожая на истинный путь любви! Но теперь я наконец прожил жизнь и любил по-настоящему. Я любил красоту множества миров. Даже маленькую Землю я любил тысячекратно, во множестве обликов. Я любил Елену и Клеопатру, и других, таких же прекрасных и достойных. Я вместе с Данте славил его Беатриче. И я познал то, что совсем не было дано мне при жизни – союз истинных сознаний и углубляющуюся на протяжении жизни гармонию. Да, и я слушал Сократа в Афинах, и до конца понимал

мудрость Гаутамы. Я вместе с Иисусом ходил по полям. И пусть теперь, снова ограниченный своей человеческой малостью, я лишь смутно постигаю пережитые мной славные мгновения, но помню, что насладился всей земной и космической красотой, всеми человеческими и всеми космическими добродетелями. Я взвешивал все мысли, доступные конечному духу. Пробудившись далеко за пределами тусклого человеческого света, я восхищался высшей красотой космической республики и служил ей в доблестных жизнях многих граждан. А с гибелью космоса я пробудился как мировая душа. И тогда я с жалостью оглянулся на себя – замученного мальчика, и воссоздал его, чтобы он обрел спасение. И я, тот мальчик, увидел свою скучную и бессмысленную земную жизнь нитью в блистающей ткани космического бытия, и жизнь моя преобразилась. Но и в мировой душе я бился хрупкими крылышками в закрытое окно последней тюрьмы, тщетно стремясь к Другому. Я участвовал в смерти души. За ней темнота – не темнота одиночества, но мрак тайны. И я, бывший мальчик, убитый в бою, примирился теперь с горестями моего земного существования и даже с духом окончательной гибели. Теперь я, тот мальчик, ничего не желаю, кроме как уснуть, раствориться в величии Духа. И я, тот самый Дух, хотя и мне суждено умереть, так и не найдя единства в Другим, обрел спасение. Потому что моя красота будет совершенной для него, примет ли он ее или уничтожит.

Так кормовой стрелок, убитый вместе с шестью товарищами и мотыльком, обрел спасение и мирно погрузился в вечный сон.

Революционер – механик того самолета, тоже пробудился.

– Когда я был заперт, – сказал он, – в том непокормном мальчике, я и вправду верил, что до нового тысячелетия рукой подать, и что оно будет завоевано такими, как я и станет просто Всеземной Республикой Советов. Но теперь, пройдя все стадии посмертного роста и мрачного преобразования, я стал умнее. Как часто мне, еще на Земле, приходилось видеть искажение Революции! И в конце концов мне пришлось увидеть, как ее запоздалая победа на планете застывает, превращается в мертвое болото. Я видел это во многих мирах. Но видел я и основание великой Космической Республики, и ее славу, и ее смерть. На земле и в ряде других миров я вел жизнь, непостижимую для прежнего мальчика, и пережил все, что он отвергал как несущественное для дела революции. Я наслаждался нежнейшими цветами личностей, человеческих и нечеловеческих. Великое искусство и великая философия изменяли меня. Мальчиком я был очень безрассуден и слеп, но все же, в согласии с теплившимся во мне светом, служил насущным нуждам человечества. А теперь мое беспокойное я обрело покой. Я, горевший пылом борьбы за человека и, (не зная того) за победу



духа, я, так яростно восстававший против власти тиранов, смирился с человеческими бедствиями и окончательной гибелью Духа от руки тиранического Другого. Странно, что я, так дороживший человеческом и так презиравший религию, должен теперь поклоняться не только мировой душе, но и этому тирану – Другому, который, если и существует, кажется равнодушным к нашим молитвам и к нашему поклонению. Быть может, он не более, чем порождение наших стремлений. Что ж, если и так, это славные стремления! Но душа – не вымысел. И в ней я, некогда безрассудный мальчик, пройдя большой путь и многому научившись, увидел свою земную жизнь преображенной. И теперь все, чего я желаю для этого несчастного человеческого я – это сон, растворение в мировой душе. А что, если и она со смертью растворится во сне, прежде чем могущественный Другой примет ее?

На этом воссозданный дух мальчика уснул.

Святая истерзанного войной города пробудилась в величии души.

– Как странно, – задумалась она, – как удивительно непохоже это на то, чего я ждала от смерти, и насколько это более чудесно. Сперва мне почудилось, что я возношусь прямо к полному воссоединению с моим Богом – и какое же блаженство охватило меня! Блаженство не за себя одну, ведь я утадывала в небесах всех своих друзей; соседа-

водопроводчика, который был так добр ко мне, бледную мать, чей сын был убит (но она нашла его в небесах), еврея, спасенного мной от полиции, проститутку, которая нянчилась со мной, когда я болела – и все они, и все другие добросердечные люди, казалось, разделяли мое блаженство. Да и все грешники, казалось, преобразились и попали на те же небеса. Но я недолго оставалась в этом неподвижном блаженстве. Вокруг меня все менялось, и я видела такое, что и не снилось моей простой вере. Передо мной раскрывались просторы истории и будущего, и великое множество обитаемых миров, и невероятное разнообразие духов в каждом из них. И самым удивительным было то, что Бог, принявший меня, пробудивший меня в своем величии и совершенстве, оказался, как ни странно, конечной, сотворенной душой. И над ней высился тот страшный Другой, которого я боялась при земной жизни и поэтому отрицала, уверяя, что только творец есть любовь, а вне его ничего нет. Теперь же мое прошлое стремление к Богу Любви преобразилось в стремление мировой души к Другому – ужасному, невидимому, морозно-прекрасному – к источнику и венцу всего сущего. Его, будь он любовью или чем-то совершенно непостижимым, я должна почитать. Душа, его создание, украшает себя, как его невесту. А он остается невидимым и не отвечает. Наконец она умирает. Что дальше? Неужели он уничтожит убитое им идеальное создание – или же она пробудится

для вечности в его явном присутствии, и в радости взаимной любви эти двое станут одним? Как сурова ее судьба, и как радостно душа приемлет ее, потому что желает. И потому в ней – спасение. И я, которая одновременно она и маленькое земное существо, воссозданное в ее величии, тоже спасена. Увидев преобразование моего малого я, я не желаю больше ничего, кроме сна. И она, сама душа, какой бы ни была ее судьба: медленная смерть, непробудный сон или непостижимая вечная жизнь – она тоже успокоилась.

И святая истерзанного города уснула.

Умер и лжепророк павшей империи. В миг смерти, как при всякой смерти, его малое будничное я встретилось с пробужденным, незнакомым я, перебирающим и взвешивающим темные, запятнанные кровью, четки его дней.

– Не я, – вскричал он, – наверняка не я отравил умы миллионов лживыми доводами, а сердца – ложными ценностями! Не я восславлял силу, жестокость и ложь. И, нет, не я, а какой-то дьявол во мне мучил такое множество чувствующих созданий ради моего властолюбия.

Но будничное я лжепророка возмутилось в миг его гибели.

– Я восславлял силу и жестокость из отвращения к их ханжеской мягкости, и от ненависти к лицемерной правдивости я славил ложь. И волю свою я

внушил народу, жаждавшему от меня дисциплины и вдохновения. Я был высшим орудием судьбы. Но в конце концов судьба предательски отвернулась от меня.

Новое, незнакомое я лжепророка отвечало:

– Орудие судьбы, но при этом предатель Духа, которого я в юности смутно угадывал, как всякий человек. Затем, шаг за шагом я искажал его облик по своей прихоти, пока не оказался в роли Антихриста. Я играл на человеческом страхе, ненависти, кровожадности, до времени, когда судьба, отнюдь не предавая меня, распорядилась мною по справедливости. Но что значит «мною», «я»? Конечно, тот злобный предатель не был «я». Ведь я целиком принадлежу Духу. И хотя я должен расплачиваться за грехи того создания, быть может, вечными муками, я от всего сердца, добровольно славлю Дух.

Созданию, пробудившемуся со смертью лжепророка, пришлось многому научиться, потому что, хотя воля его была чиста, он жестоко запутался в невежестве, лжи и фальшивых ценностях своего земного я.

В величии души малое земное я лжепророка понемногу воскресало. Умудренный мудростью духа, он с высоты озирает свою земную жизнь и вздыхал.

Я сотворил великое зло, – думал он, – отравил целую эпоху. Я делал зло по собственной воле. Ход событий в том малом мире губительно сочетался с моей близорукостью, самовлюбленностью и обидами,

затягивая меня в ту ужасную жизнь. Но теперь, отстрадав в своем чистилище, я изменился. И теперь я смотрю на свое ненавистное я без ненависти, вижу его иначе. Сейчас, оглядываясь назад, я не стал бы менять своей жизни. Зло, смертельно отравившее меня, было необходимо для целого. Кто-то должен был сыграть эту роль. Так что даже я, столь дурной в прошлом, обрел спасение. И чего теперь мог бы Я пожелать для своего земного я, кроме сна?

Дух человеческий, обдумывая эти возможности индивидуального спасения, напоминает себе, что все это – вымыслы его сознания.

– И есть ли в них истина, – гадает он, – или это чистая фантазия? А если это правда, не все ли хорошо в мире?

Вслушиваясь в глубины своего я, он требует ответа, но ему отвечает тишина. А он, между тем, признает, что перерос подобные утешения. Станный покой нисходит на него, и он из глубины себя шепчет:

– Ты, о, Ты! Да будет так!

### ***Седьмая интерлюдия*** ***Старость в расцвете весны***

Щебечут, взбираясь по небесным лесенкам, жаворонки. Весело цветет дрок. Неуклюжий и бодрый ревень раскрывает широкие ладони, ловя солнечные зайчики. Ростки картофеля пунктиром протя-

нулись по грядкам. Молодой горошек высунул из земли зеленые носики, а в ящиках капустной рассады теснятся, ожидая простора с его опасностями, хрупкая зелень. Цветы боярышника распространяются с южной стороны дерева на северную. В поле бушует овес – мощное молодежное движение в зеленой униформе приветствует солнце вскинутыми к небу руками.

Весна раскрашивает старческое лицо земли красками молодости, и земля действительно молодеет.

Даже в нас, стареющих садовниках, солнце растопило иллюзии юности. Заслышав кукушку, мы на минуту отрываемся о прополки и вскопки и улыбаемся друг другу. Но наши спины стали негибкими, наши мышцы слишком скоро устают. Старые глаза без очков не отличат зяблика от коноплянки.

Мы тоже когда-то были частью весны. Теперь же наше время – осень. В апреле мы неуместны, как старая картофельная ботва, которую забыли сжечь.

Стареть утомительно, но в то же время светло. Когда гаснут восторги тела, в них появляется странная, серьезная значительность, словно в святых обрядах, старинных, но вечно свежих. Ум тоже старится. Уже сейчас, почти неуловимо, он теряет свою хватку. Воспоминания не спешат явиться по первому зову – а то валят толпой непрощенными. Слишком легко приходит изнеможение. Опасности, боль, все жестокие перемены обстоятельств пугают сильнее, потому что не так просто собрать силы, чтобы с

ними справиться. Юношеский дар внезапных преобразующих прозрений утрачен. И будущее, если жизнь моя, по случайности или намеренно, не прервется, несет лишь старческое безумие. Странно, как мало тревожит меня то, что я, больше всего интересовавшийся человеком и космосом, утрачу взрослый ум, впаду в детство. Возвышенные темы станут для меня слишком высоки. Я буду на людях перебирать воспоминания и повторяться в анекдотах. (А ты – ты ведь моложе меня – с каким терпением и нежностью ты станешь меня поправлять!). Еще немного, и мои слабые желания сведутся к теплу, сну и той пище, которую я сумею переварить. И тогда я стану обузой: для себя, для тебя и для молодых. Нерадостная перспектива. Но, на фоне невеселого целого и она становится приемлемой.

А если забыть о безумии, в осенней жизни есть свое достоинство, непостижимое для молодости. В юности я был просто пузырем, раздутым эго, а вселенная была для меня не более, чем тесной пленкой неба. В старости я съежился в своих глазах почти до точки – но мыслящей точки, в которой слой за слоем фокусируется огромная реальность. Можно сказать, я лишен размера и в то же время бесконечен. Я – почти ничто, но я содержу в себе панораму бесконечности вне меня. Вид этот, конечно, неполон и наверняка не слишком верен, но он открывается мне как стройная, просторная, ужасающая и прекрасная вселенная.

Гаснувший в моем теле огонь и желания вянущего эго представляются теперь такими незначительными – просто карликами в сравнении с насущными потребностями кипящего человеческого мира, и воплощаемым возможностями мириадозвезд, и невидимым, но смутно мыслимым величием над небесами. Дряхлеющее тело еще цепляется за жизнь, еще требует доступных ему радостей, и я слишком часто поддаюсь его буйной жадности или страхам, изменяя внешней реальности и владеющему мной духу. Дряхлеющее я еще требует безопасности, бессмертия и даже достойных одеяний, хотя и застенчиво, с насмешкой над собой. Я еще часто покоряюсь ему, но я уже не раб. Я все чаще отождествляю себя не с этими желаниями, а с великой внешней реальностью и ее духом. Когда тело умрет и сам я, быть может, погружусь в вечный сон, я потеряю так немного! Ведь космос будет продолжаться, и дух во множестве других сосудов, тоже. Утратив это бесконечно малое «я», я, в сущности, ничего не потеряю.

И еще в старения, в этом медлительном увядании лелеемых радостей и драгоценных сил, есть своего рода очищение, словно подготовка к какому-то важному событию. Жертва постится и очищается перед возложением на алтарь. Вселенский дух, владевший ею изнутри, медленно отбрасывает прихоти обветшавшей личности и расправляет помятые крылья, нетерпеливо готовится к полету. Я не стану удерживать эти милые радости, эти скромные силы



моего драгоценного я. Их повторяют и улучшают другие. Для меня, когда окончится это утомительное старение, желанный конец придет как сон.

А ты? А мы? То прекрасное, что пробудилось в нас – неужто оно уснет навеки? Или и оно, чья суть есть дух, тоже вырвется на свободу?

## **Глава 8**

### **Здесь и сейчас**

Видения, которые тпился уловить дух человеческого, гаснут в его памяти. Торжествуют колокола и трубы. Та реальность, что открылась духу человеческому в миг вечности, уходит безвозвратно.

Реальность? Была ли то реальность, или сон, болезненный бред?

Странное дело: вся, недавно столь живая панорама времени и вечности, теперь бледнеет, как память об отброшенной галлюцинации. Подобно упавшим в воду снежным хлопьям, она тает, исчезает. Ее растворяет тепло. Тщетно дух человеческий всматривается в стену тумана. Она непроницаема. Вечность вновь бесконечно далека и непостижима – просто слово без смысла. Пространство грядущих эпох – простая фантазия. Даже завтрашний день, до которого всего один шаг, скрыт во мгле.

Покорившись вездесущему грохоту победы, дух человеческий озирает сегодняшнее человечество. Не сумеют ли люди, гадают он, подняться над собой в этот великий миг? О, если бы они, отринув недав-

ную трагедию, одним прыжком преодолели Рубикон своих извечных пределов! Но пригодны ли они для такого подвига? Ослабила их недавняя агония мира или сделала сильнее? Очистили их страдания или сломили? Взломает ли мотылек стенки куколки, или он отравлен насмерть?

Дух человеческий видит, что все полчища людей едины, по крайней мере, в желании мира. Они долго прониклись отвращением к ужасам войны, но жажда мести и страх воздаяния возбуждают в них жестокий разлад, а жажда власти и славы борется со страстным желанием навсегда покончить с тиранией. И, если люди желают мира, то не столько ради любви, сколько из страха. Победители протягивают друг другу руки над телом поверженного врага, но взгляды их недоверчивы. В ликующих городах толпы пьяны от музыки и нетерпеливой надежды, но там и тут трезвые молчаливые наблюдатели холодеют от сомнений.

Еще недавно побежденные народы, освобождаясь один за другим, встречали освободителей цветами, вином и поцелуями: теперь, один за другим лишаясь иллюзий, они остывали или даже обращали свое слабое оружие против новых завоевателей. Ведь эти победители, озабоченные установлением порядка или восстановлением разорванных тканей мира, не слишком нежно обращались с непокорным эмбрионом мира нового, чья странная неприглядная зародышевая форма отвращала взгляды тех, кто не умел

распознать в ней надежды. А порядок победители понимали слишком просто, в старых, сношенных понятиях. Их прикосновения слепых лекарей не шли на пользу формирующемуся мотыльку, а задерживали его развитие, создавали не нового пробуждающегося человека, а старого лунатика.

Так это видится встревоженному духу человеческого, наблюдающему за событиями множеством глаз своей измученной плоти. Там, где прошла война, где войска тирана были изгнаны с несправедливо завоеванных земель, отступающая волна, отхлынув к его главной твердыне, оставила после себя опустошения. Поля пусты, потому что молодежь угнали в рабство на вражеские земли. Деревни, — те, что не разрушены, не сожжены из мести — голодают, оставшись без запасов. Города искалечены или вовсе уничтожены, их механика разбита или украдена. И повсюду человеческие существа, грубо переплавленные войной или многолетним угнетением, или тщетным, хотя и отважным сопротивлением иноземным угнетателям, слишком привыкшие к жестокости, стали беспокойными и готовы вспыхнуть от одной искры. Изголодавшиеся, больные, подточенные неотступным страхом или внезапными ужасами, бессильной ненавистью или изнасилованной любовью, они измождены, смертельно измотаны — безрадостны, но легко отзываются на ребяческие или маразматические страсти, будь то дружелюбие или отвращение, пылкая благодарность или презре-



ние. Слишком долго этими утнетенными правила одна грубая потребность. Всеми, кроме героев сопротивления, правила нужда – потребность не в боге, не в духовном спасении, не в освобождении человечества, даже не в спасении страны, а простая потребность в пище и одежде, в самых простых вещах, которых, сколько не ищи, нельзя было раздобыть в достатке. Этих простых вещей и спасения от жестокости завоевателя они добивались ежедневно, интригуя и совершая подвиги. Удивительно, как, вопреки всему этому, иные находили время и силы трудиться ради счастливого будущего, распространять отвагу и надежду через запрещенные газеты и радио, да и примером собственного героизма.



А потом, когда темная волна отхлынула, когда отпраздновали первые победы, измученные, потрясенные народы продолжали голодать. Неоконченная война еще требовала кораблей, поездов, грузовиков. И в неизбывном несчастье, видя, как богачи опять подбираются к власти, иные с горечью заявляли, что свобода обернулась насмешкой. И тогда эти несчастные народы, перекованные страданием, снова обращались к партизанской войне, вынуждая победителей-освободителей к жестокости.

Какие новые идеи, гадают дух человеческий, какой новый характер, дикий и взбешенный страданиями или, может быть, страданиями очищенный и

воспламененный для холодного точного прозрения, породит этот истерзанный континент?

Как ни тяжелы бедствия освобожденных, их легче перенести, чем бедствия побежденного врага. Эти народы терзает не только ярость войны, но и проклятия жертв. Но и они, про природе не бесчеловечные, обладают телом и мозгом, нуждающимся в нежности и не переносящим зверств. Они одичали в неблагоприятных обстоятельствах – так бесится лошадь от жестокого обращения. И вот эта гордая и развращенная нация, слишком долго хранившая верность своему лжепророку, теперь расплачивается за все зло, что совершила во имя его. Ведь теперь освобожденные пылают местью. Ненависть и месть притворяются справедливостью и требованиями безопасности. Убивайте! Убивайте военных преступников, построивших концлагеря, вырывавших ноги, избивавших живые тела, сжигавших на медленном огне, отрезавших груди женщинами и тестикулы мужчинам, пытавших детей на глазах родителей, вынуждая к предательству. Они должны расплатиться самое малое такими же страданиями – все, вплоть до мелкого чиновника, выполнявшего зверский приказ. Что же касается масс, если убивать все эти миллионы непрактично или недипломатично, давайте хотя бы навсегда уничтожим их военную силу. Захватим или разобьем их технику, закроем шахты, разделим их страну между победителями, заклеим их всех как преступников, используем их

специалистов и рабочих, чтобы возместить ущерб, нанесенный другим странам. Дважды на протяжении одного поколения их варварская жажда власти вовлекало мир в войну. Теперь, наконец-то, пришел час расплаты! Медлительный как лава поток победителей уже вытоптал их поля, сокрушил города и села, пожрал их молодежь. А теперь беглецы с востока на запад и с запада на восток вливаются в стиснутое окружением сердце их страны, как звери бегут перед лесным пожаром.

Их армии теснили, ломая сопротивление. Сегодня победители встречаются.

Сегодня, когда во всех остальных странах ликуют колокола, молчит одна лежащая в руинах столица. И молчаливые толпы заплотнили ее улицы, наблюдая за парадом захватчиков и ожидая расплаты. Но есть и такие, кто приветствует победителей. Тайное сопротивление прежней тирании наконец обрело голос. Другие меняют убеждения с переменой ветра и разыгрывают радостную встречу.

Дух человеческий, вглядываясь в мрачные умы побежденных граждан, ужасается и сочувствует им. Конечно, он винит их в былой измене духу, как винит всех людей и самого себя в вечной тщете и ошибках. Но ему известно то, чего не смеют признать победители: что огромная часть этого народа втайне ненавидела и осуждала пророка и его тиранию, хотя и не смела поднять голос, потому что ропот карался бесчеловечными казнями. Он знает, что



тысячи не страшились даже этих кар. Они предпочитали тюрьму, болезни, пытки, гибель ума и тела, молчанию. Этих дух человеческий чтит как благороднейшие из своих членов. А трагедия всего этого народа теперь внушает ему жалость, потому что возмущенные близорукие победители готовят им месть и опустошение.

На последних стадиях городского сопротивления власть рухнула, порядок исчез. Столь дисциплинированные недавно горожане превратились в толпу отчаянных, преступных индивидуалистов. Но нет – даже в этом хаосе друг был верен другу, матери – своим детям, любящий – любимому. В этой крайности горожане проявили не только худшее, но и лучшее в себе. Здесь и там из долгого забвения возвращалось лучшее. Ведь они люди! А какие небывалые бедствия им выпали! Улей их жилищ был растоптан, они укрывались в развалинах, защищая близких от орды бездомных пришельцев с восток и с запада, и от бежавших рабов, завезенных для тяжелых работ с завоеванных земель, а теперь открывших собственную тайную войну против горожан. Голодные бродяги схватывались за каждую кроху еды или объединялись в банды, чтобы, сметая полицию, штурмовать лавки. Больные и умирающие без помощи лежали в развалинах. Истощенные тела этих некогда гордых горожан не справлялись с охватившей город заразой, а мертвых было слишком много, чтобы их хоронить.

Но теперь война окончена. Больше не воют сирены. Над головами, демонстрируя силу, кружат десять тысяч самолетов победившей армии.

С ужасом, с недобрым предчувствием вглядывается дух человеческий в сознания этих отчаявшихся горожан и их соотечественников по всей измученной стране. Какую роль сыграют они в новом мире, балансирующем на лезвии ножа между отчаянием и надеждой – в мире, где невротичные умы готовы вспыхнуть от первой же искры несогласия? Пожилые, более мягкие горожане, давно не смевшие даже шепотом выразить мечту о забытом прошлом, когда город был счастливее, а народ добросердечнее, теперь открыто восхваляют прежние времена, хотя сами они своим смирением помогали убить старый порядок и утвердить новое злобное государство. А молодые? Они не знали того более счастливого века. Они не дышали воздухом веры, без которого их предки не могли жить. С детства их умы муштровали и извращали для новой, дьявольской веры. И хотя многих из молодежи уже тошнит от зверств, они не ведают о духе. Потрясение наконец пробудило их от кошмарной иллюзии, в которой они родились, которую невольно принимали за реальность. И теперь, в новом незнакомом мире дневного света, они не смеют шевельнуться. Им нет в нем места. Как слепой, которому вернули зрение, они растеряны и парализованы новым откровением. Некоторые осмеливаются вслепую, неуклюже и неверно, тянуться

к нежности, которую их так старательно учили презирать. Для таких есть надежда. Но другие, слишком отравленные наркотиком ненависти и насилия, ревниво отрицающие все счастливое и любящее, яростно сражаются с более мягкой частью своей натуры и неизлечимо превращаются в безумных героев, в извращенных святых или просто в вандалов. Озлобленные, лишенные веры падением своего вождя и поражением отечества, они дают клятву мести, посвящая себя будущей войне за порабощение всего человечества.

Ощущая в себе извращенный героизм этих пропащих душ, дух человеческий содрогается. У них такие же тела и мозги, как у всех. Когда-то они были маленькими детьми, подавали надежды, как стройные зеленые ростки человечности. Но отравы обожгла и изуродовала их. Подсчитывая, сколько таких, дух человеческий отчаивается – потому что победители замыслили месть, а месть порождает новую месть, и там, где месть правит умами, изверги и вандалы становятся удобными орудиями, если не вождями.

Но побежденные – это всего один народ из множества. Дух человеческий обращает взыскательный взгляд на победителей: на этих солдат, закаленных трудностями и боями, готовых убивать пулей и снарядом, штыком, гранатой или ножом. Замечает он и мальчиков в воздухе – пилотов, стрелков и остальных, запертых в своих машинах, объединенных дис-

циплиной и товариществом во имя экипажа. В сердцах этих захватчиков он ощущает глубокий, сокрушающий ужас перед войной и тоску по мирной жизни. В каждом и них он находит неясную, но настойчивую потребность в некоем «мы», более нежном и глубоком, чем вынужденное товарищество армейской роты или экипажа. И с этой потребностью пробуждается смутная нежность ко всем людям, даже к побежденным. Пусть сейчас эти победители требуют воздаяния, через минуту они способны поделиться пайком с голодным ребенком. В каждом из них жажда мести сдерживается слепым и настойчивым, отчаянным стремлением к духу, и оно же тревожит пораженных войной горожан.

Не в этом ли, вопрошает дух человеческий с внезапной надеждой, кроется новый характер человечества?

Но вот от торжествующих победителей на улицах и в небе города он обращается к родным странам этих завоевателей. И там теплится та же жажда, но как она запутана, как подточена страхами, жадностью и тысячью обыкновенных глупостей!

На западе верующие в силу денег планируют спасти человечество деньгами; искренне, потому что их сердца тоже тронуты несчастьями человеческого рода. Но слишком явственные воспоминания о победах их свободной торговли и коварная надежда на будущее приобретения делают их слепыми к новым потребностям мира, к нужде в высшей цели и в но-

вом плане, объединившем бы людей в духе. Эти поклонники денег думают одной свободой торговли обеспечить процветание каждому, а самим себе – власть и огромные богатства... и забывают суровые уроки прошлого. А дух? Даже те, чьи умы не увлечены деньгами, мыслят дух слишком простым, в той форме, которую придали ему деньги. Для них индивидуалист, опора власти денег и первопроходец всех великих предприятий, в то же время – единственный сосуд духа. И это правда, но не вся правда. Только в мудрости, в любви и творческом созидании индивид может быть духом, а эти самоуверенные индивидуалисты не смеют признать, что воинствующий индивидуум, самодовлеющий и не знающий пределов, есть главный враг духа. Все мы – члены друг друга.

Дух человеческий обращается на восток, к новому обществу, в котором укротили власть денег и установили решительный беспощадный план движения к общему благу. Но и там ростки еще слабы. Там, как везде, прорывается воля к духу, пусть непризнанная и неназванная. Но там эту волю мыслят общественной дисциплиной и властью общества – первого великого сообщества товарищей, устремляющего все свои силы к здоровью и благосостоянию своих граждан и к новому мышлению, перед которым преклоняются власти нового государства и множество их последователей. Для них главное – способность к практическому служению и добро-

вольной дисциплине общего труда. Дух человеческий хорошо сознает, что такое трудовое товарищество необходимо в истинном духе, и оно-то в загоне на западе. Но если его не уравновесить западной верностью духовным стремлениям индивидуума, его уединенным поискам себя и способности радоваться уникальности своих друзей, дух человеческий неизбежно зачахнет. С тревожным сомнением взирает дух человеческий на воинственный энтузиазм великого народа с его новым порядком. Он ощущает его нетерпимость к инакомыслящим, его волю к конформизму, его пламенную, высокомерную, безрассудную верность новому обществу. Как это оправданно, но и как опасно! Не движутся ли они, в конечном счете, к новой тирании, к всемирному государству-муравейнику? Или это массовое мышление преходяще, вызвано угрозами и долгими общими страданиями? И станет ли этот, самый общественный из народов, также и самым духовным? Вернутся ли они, когда минет угроза, к прежним духовным поисками и уединению, достигнут ли новой искренности и новых мистических прозрений?

А другие народы востока? Темнокожие, все еще не свободные жители великого полуострова, чьи предания полны мистики, как ни у кого больше? И — еще дальше к востоку, люди с лицами цвета старой слоновой кости, с самыми древними обычаями. Сегодня, в жестокой школе войны они выбрали для себя новый путь — новый, но глубоко укорененный в

прошлом. А темнокожие люди, пробуждающиеся от долгого рабства?

С сомнением и надеждой вглядывается дух человеческий в свою множественную плоть. Ферменты распространились по всему миру, проникли глубоко. Несомненно, существо мира рвется из стенок куколки. Скоро мотылек станет свободен, расправит крылышки и взлетит к пылающей жизни за пределами нашего горизонта.

Но недавнее трагическое видение все еще смущает дух человеческий.

И тут, сквозь звездные дали и зоны времени он вновь смутно ощущает Другого, и в его тайне обретает покой.

## **Заключение Родительство**

Впервые увидев нашу дочь, ты сказала:

– Как странно, это новое маленькое существо выглядит совсем отдельным от меня.

Но, припав к груди, она быстро привязала тебя, и скоро вся твоя жизнь сосредоточилась на ней. Вдали от нее ты впадала в кому. Я стал фигурой на заднем плане, и взгляд твой падал на меня лишь изредка, ради отдыха.

Когда появился твой сын, он, конечно, занял фокус твоего внимания, но не вытеснил сестру, и она

**не осталась без ласки. У тебя хватило места для обоих, а у них, очень скоро, друг для друга.**

**Они росли, а мы строили планы и колебались. Этим накормить, или вот тем? Так устроить или иначе? Эта игрушка, книжка, родительский подход, школа – или иные? Каждый шаг был опасным экспериментом: поощрять рост или его сдерживать, оставив, возможно, шрам навсегда? Как ужасно было думать, что мы, по невежеству или по неосознанной слабости характера, можем на всю жизнь искалечить эти юные души.**

**Вдруг над дочерью встала угроза смерти. Двенадцать лет она росла: от микроба в твоём теле, обычного паразита, до светлой человеческой личности, увлечено, со смехом и слезами, учившейся высокому искусству женственности. А теперь смерть или безумие могли погубить эту душу. Она страдала, мы были бессильны. Спасти её мог только нож хирурга. Мы не забудем того дня. Мы не забудем, как, когда это кончилось, увидели её в тюрбане бинтов на голове, такую слабую, бледную, так неожиданно прекрасную и оставшуюся собой.**

**Скоро, неимоверно скоро оба закончили учение и освободились наконец от нашей заботливой опеки. Каждый теперь искал опору в зыбком, полном катастроф мире. А потом война предъявила свои права на обоих; её взяла осажденная столица, его – море. Мы не забудем его ухода. Он обратил свои неиспытанные силы на борьбу с ужасом, который создали**



старшие. Когда его корабль был потоплен, а он в числе немногих выживших спасся, нас не посетило мистическое видение. А узнав, наконец, об этом, мы по-прежнему занимались своими делами, хотя представляя его в воде, забывали дышать. Мы с трепетом и смутным стыдом сознавали себя счастливыми среди терзаний всего мира. Там, где гибнут миллионы, уцелевшие содрогаются.

Эти двое живут. Они уже не наши дети, а молодые мужчина и женщина, бывшие нашими детьми – наши младшие сограждане, любимые, уважаемые и непостижимые друзья. Конечно, у нас и теперь много общего, но годы развели нас в стороны. В мелочах, а иногда и глубже, мы с радостью поможем им, как прежде. Мы можем писать письма, посылать книги, фрукты и курительные трубки. Мы храним дом, где они могут отдохнуть и подлечиться. Но в более серьезных испытаниях духа эти двое недостижимы для нашей помощи. Отчасти сформированные нами, они все же создания чуждого нам мира. Пусть в их умах нестираемым палимпсестом вписано твое материнство и мое отцовство, но поверх этой древней записи ярко записаны чужие нам истины, незнакомые нам ценности и, может быть, не наши ошибки. И потому, хотя для нас эти двое навсегда – наши дети, но в то же время они – незнакомцы.

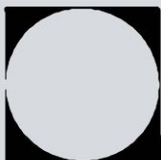
Мы с тревогой вглядываемся в их будущее. Они выбирают странно для нас, и мы трепещем, как ку-

рица за высиженных ею утят. Если бы можно было научить их жить, как когда-то мы учили их кататься на коньках, они бы, конечно, превзошли нас в жизни, как на льду! Но что мы знаем о жизни в завтрашнем мире? Может быть, их странный выбор – на самом деле уверенный и законченный мазок на картине, которой мы не видим.

Таков мир. У каждого поколения перехватывает дыхание от страха за преемников. Однако мир продолжается, обманывая и опасения старших, и надежды молодых, расцветая непредвиденными бедствиями и неведомой славой.

*Конец*

Зарубежная



фантастика

